

НОВАЯ ПОЛЬША

№9₍₁₂₎



2000

Виктор Ворошильский Стихи и проза

Ворошильского вспоминают:

Н. Горбаневская и В. Британишский

КАК БЫТЬ С ТРУДНОЙ МОЛОДЕЖЬЮ?

МЫСЛИ ОТЦА ЮЗЕФА ТИШНЕРА

МЕДНОЕ: НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Ольбрыхский отвечает Михалкову

Славомир Мрожек РИСУНКИ

ВАРШАВА

«НОВУЮ ПОЛЬШУ»

можно купить в следующих магазинах:

В Москве:

«Эйдос»

(Чистый пер., д.6, стр.2)

«Графоман»

(ул. Бахрушина, д.28)

«Ад Маргинем»

(1-й Новокузнецкий пер., д.5/7)

«Русское зарубежье»

(ул. Нижняя Радищевская, д.2)

«Летний сад»

(ул. Б. Никитская, д.46)

«Магазин исторической книги»

(Старосадский пер., д.9)

«Букинист»

(ул. Остоженка, д.53)

«Гилея»

(ул. Б. Садовая, д.4)

Киоск в Центральном доме литераторов

(ул. Б.Никитская, д.53)

В Санкт-Петербурге

«Книжный салон» филологического факультета СПбГУ

(Университетская наб., д.11)



НОВАЯ ПОЛЬША

ISSN 1508-5589



№ 9(12)
2000
СЕНТЯБРЬ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

	Наталья Горбаневская ПАМЯТИ ВИКТОРА ВОРОШИЛЬСКОГО	3
	Виктор Ворошильский СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ	8
	Виктор Ворошильский МОИ РУССКИЕ	12
	Наталья Горбаневская «ПОЭТ, ПЕРЕВОДЯЩИЙ ПОЭЗИЮ»	12
	Владимир Британишский ВСПОМИНАЯ ВИКТОРА ВОРОШИЛЬСКОГО	17
	Виктор Ворошильский ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ	25
	Я В РОССИИ, РОССИЯ ВО МНЕ <i>Последнее интервью Виктора Ворошильского</i>	27
	Виктор Кулерский ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ	34
	БЫЛА БЫ ИДЕЯ... ТРУДНЫЕ ДЕТИ	39
	ГАЗЕТНЫЙ КИОСК Витольд Бересь «ТЫГОДНИК ПОВШЕХНЫ»	53
	ЮЗЕФ ТИШНЕР. ЧЕЛОВЕК, ФИЛОСОФ, СВЯЩЕННИК	55

WIKTOR WROSZYLSKI





Анна Гришина 63
«МЕМОРИАЛ» НЕ ДАЕТ ЗАБЫТЬ О ПОЛЯКАХ



Сергей Глушков 70
ТАЙНЫ ЗАХОРОНЕНИЯ ПОД МЕДНЫМ



Кристина Курчаб-Редлих 73
ДОКЛАД ЗОРИ



Лешек Шаруга 83
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ



Янина Куманецкая 87
ЛЕТОПИСЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ



Славомир Мрожек 87
РИСУНКИ



ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
Даниэль Ольбрыхский 95
ПИСЬМО РУССКОМУ ДРУГУ

Редакционный совет

Стефан Братковский
Хенрик Возняковский
Наталья Горбаневская
Ежи Клочовский
Кароль Модзелевский
Януш Тазбир
Станислав Чёсек

Главный редактор

Ежи Помяновский

Редколлегия

Наталья Горбаневская
Никита Кузнецов
Виктор Кулерский
Янина Куманецкая
Петр Мицнер

(зам. главного редактора)

Кристина Пашек

(секретариат)

Гжегож Пшебинда

Ежи Редлих

(зам. главного редактора)

Станислав Филипчак

(ответственный секретарь)

Лешек Шаруга

Дмитрий Швионков-Кисмелов

(главный художник)

Графика и макет

Дмитрий Швионков-Кисмелов

Верстка

Малгожата Мёнсковяк

Адрес редакции

Al.Niepodległości, 213
00-973 Warszawa
Ал. Неподлеглости, 213
00-973 Варшава
телефоны:

(0-22) 608 27 95

608 25 65

факс:

608 25 05

608 27 96

e-mail: nowpol@bn.org.pl

Издатель

BIBLIOTEKA NARODOWA
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА

По поручению
Министерства Культуры
и Национального Наследия
Республики Польша

Переводчики: А.Бондарев, В.Британишский, Н.Горбаневская, Н.Кузнецов, С.Филипчак, Е.Шиманская.

Фото ©: W.Slawny (стр. 8), В.Суворов (стр. 73,74,79,82), W.J.Szulecki (стр. 7), J.Tarań (стр. 3), A.Zegier (стр. 39,45,50,52), J. Zych („Przekrój”) (стр. 55), (стр. 76, 80), Z.Żybertowicz (стр. 95).



Наталья Горбаневская

ПАМЯТИ ВИКТОРА ВОРОШИЛЬСКОГО

13 сентября 1996 г. в Варшаве скончался Виктор Ворошильский, поэт, прозаик, переводчик, литературный критик, литературовед, активный деятель польской оппозиции начиная с середины 50-х годов. Скончался Виктор — друг, один из тех, после кого остаются незарастающие бреши в действительности и ее разные берега не хотят сходиться.

Впервые я увидела Виктора двадцать лет назад в Париже (до следующей встречи прошло пять лет — до самой эпохи «Солидарности» он превратился в невыездного). Но слышала о нем я — и не я одна — еще за двадцать лет до этого. В 56-м советская пресса, «Литературная газета» в особенности, ополчилась на некоторых польских писателей — «ревизионистов», как их называли. Имя Виктора Ворошильского, «рenegата»: он ведь несколько лет проучился в аспирантуре Литературного института им. Горького, приехал молодым коммунистом-энтузиастом, был тут принят как свой, — вызывало на газетных страницах особую злобу. А у нас у всех было и тогда, и потом простое правило: если советская пресса ругает — значит, человек хороший.



Виктор
Ворошильский
на книжной
ярмарке
(ок. 1968 г.)

Тут непременно надо сказать, что именно годы учебы в Москве, столкновение с действительностью развитого (по сравнению с польским) социализма поселили первые сомнения в душе поэта, который вступил в партию в возрасте неполных 18 лет, едва прибыв в рамках репатриации из Гродно в Лодзь. В «Материалах к биографии», написанных в Москве в феврале-марте того же 56-го года, Виктор вспоминал (в главке, озаглавленной «Молодость схематиста»):

«Первым вопросом, который я задал, переступая порог райкома на Гданьской, было:

— ППР — это коммунистическая партия?

Растерянная партийка за письменным столом начала что-то объяснять мне о демократическом блоке, но вдруг остановилась и с недоверием бросила:

— А почему собственно вас это интересует?

— Потому что я хочу вступить в коммунистическую партию. (...)

Так начиналась жизнь, в которой не было по отдельности партии, работы, стихов, но коммунизм был величайшей поэзией и ежедневным трудом, а стихи — путем



к коммунизму, жизнью ради коммунизма. Вы кривитесь от этого старомодного пафоса? Ничего не поделаешь — так я чувствовал».

Так он чувствовал, но, оглядываясь далее, в тех же заметках на последовавшие за этой ранней молодостью «годы славы», Ворошильский продолжает:

«Горше всего сознание того, что мы не написали — ибо не понимали, не хотели видеть. (...)

В результате всей этой невеселой эволюции — кем мы были в 1952 году? Уже всего лишь официальными певцами партии и народной власти. Партия — это было партийное руководство, народная власть — полная абстракция. (...) В стихах, однако, мы по-прежнему захлебывались гордостью: «Мы, партия, рабочий класс, Народная Польша!» Мы не слышали, каким пустым и неправдивым стало звучание этих слов».

Можно себе представить, какую злобу в советских ревнителях идеологической чистоты вызывали эти слова, напечатанные на страницах варшавской «Новой культуры». А ведь за этим шел еще рассказ о «годах сомнения», годах, проведенных в Советском Союзе, где первым учебным годом Ворошильского был 1952/53-й:

«Царила атмосфера недоверия, подозрительности, страха. В отношении ко мне, иностранцу, это особенно проявлялось. На моих глазах разыгралась и последняя провокация той эпохи — дело врачей. (...) Я еще не мог дойти до самых истоков всего, из-за чего в первую зиму в Москве мне было трудно дышать и из-за чего, несмотря на все усилия, я чувствовал себя не как зарубежный коммунист в первом государстве рабочих и крестьян, а как подозрительный пришелец в таинственной крепости. (...)

Все эти наблюдения и переживания отбросили какой-то ретроспективный свет на то, что происходило у нас, между прочим и на мои 1949-1952 годы. Я не мог не осознать, что то, что так мучительно поразило меня здесь, — в зародышевой форме, не доведенной до окончательных последствий, существовало и у нас. (...) Целую зиму продолжалось одинокое борение с ранее неизвестными сомнениями. Я спрашивал себя: кто я? чему я служу? какой мир строю и воспеваю?»

Вернувшись в Польшу после года отсутствия, уже после смерти Сталина, Виктор Ворошильский заговорил вслух обо всем, что пережил и передумал за этот год. Сейчас, сообщая о смерти Виктора, парижская газета «Монд» написала в некрологе, что он начал отходить от коммунизма после Венгрии. Да, в Будапеште он пережил расцвет и разгром венгерской революции (см. его «Венгерский дневник»), но от коммунизма начал отходить еще в Москве, хотя вплоть до 1966 г., пока его не исключили, оставался членом ПОРП. Если бы не эти советские «годы сомнения», может быть, он и не кинулся бы в Будапешт при первых звуках восстания, как, может быть, не кинулся бы, едва вернувшись летом 56-го из СССР, в Познань, по следам только что кроваво подавленных рабочих волнений.

А впрочем, может быть, он и без своего советского опыта кинулся бы и в Познань, и в Будапешт, потому что наше антигазетное чутье не обманывало и он действительно был хороший человек, по природе честный, а такие люди могут поддаться ослеплению или самоослеплению, но всегда — рано или поздно — прозревают. Говорят, лучше поздно, чем никогда. Но еще лучше — рано. Это, слава Богу, и произошло с Виктором Ворошильским.



Спасибо приходится сказать тем партийным чиновникам, которые, поверив в его «Весну шестилетки», послали Ворошильского учиться в «первое государство рабочих и крестьян».

Что же было дальше? Дальше была жизнь писателя, почувствовавшего себя независимым, в стране, которую у нас называли «самым веселым баракком социалистического лагеря». Борьба с цензурой (требование отмены цензуры Ворошильский выдвинул на съезде писателей еще в том же 56-м году), выходявшие книги и запрещавшиеся книги. Та, из которой взяты вышеприведенные цитаты («Возвращение на родину»), вышла только в 1979 году... в Лондоне: сданную в варшавское издательство в декабре 56-го, ее сначала «воздержались» издавать, а затем и вовсе вернули автору. То, что появлялось в 56-м на страницах периодики, годом позже уже не могло быть перепечатано. Барак был, может, и веселый, но все-таки барак.

В 60-е годы Ворошильский участвовал во всех писательских протестах, правду сказать, немногочисленных, но прозвучавших как камень, брошенный в тихий омут польской «малой стабилизации». В 70-е он активно поддерживал деятельность Комитета защиты рабочих (КОР) и стал одним из зачинателей польского самиздата, автором и редактором независимого литературного журнала «Запис» (слово, которое означает и «запись», и «цензурный запрет»). Писал письма в защиту преследуемых и арестованных. Печатался (поначалу под псевдонимом) в парижской «Культуре». 13 декабря 1981 г., в день объявления военного положения, был интернирован. И, конечно, все эти годы писал — прежде всего стихи.

Это стихотворение было написано между 1970 и 1976 годами, датами крупнейших рабочих волнений в Польше:

***ОДНАЖДЫ ЗИМОЮ В ОДНОМ ГОРОДЕ
РАБОЧИЕ ОТГОВАРИВАЮТ ПРОХОЖИХ
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НИМ***

*Мы идем А вы не ходите с нами
Вы не ходите с нами
Вы у кого не всё еще отняли
Вы не ходите с нами
Ваш огонь греет Наш выжигает
Вы не ходите с нами
У вас каша вскипает У нас накопело
Вы не ходите с нами
Ваша дверь тиха Наша взломана стонет
Вы не ходите с нами
Вам стена защитой Мы к стене приперты
Вы не ходите с нами
Кому локтя из сустава не вырвали
Вы не ходите с нами*



*Изо рта последней корки не вырвали
Вы не ходите с нами
Брата из братской семьи не вырвали
Вы не ходите с нами
Пока вам больно но не так еще больно
Пока вам тошно но не так еще тошно
Пока вас топчут но не так еще топчут
Пока вас мучат но не так еще мучат
Пока вам хватает пива и смиренья
Вы не ходите с нами
Вы не ходите с нами*

Я перевела его для «Континента», как переводила многие другие стихи Виктора, как перевела его «Венгерский дневник» (как перевела в 81-м году для «РМ» его детскую книжку «Кирюшка, где ты?»). Но он перевел моих стихов больше, чем я — его. И лучше.

Он переводил Мандельштама, Бродского — не очень много, но зато его переводы среди самых лучших, как говорится, конгениальных. Однажды, году, кажется, в 87-м, на сходке, организованной в Париже французским ПЕН-Клубом и «Континентом», я указала ему одного советско-парижского профессора, сказав: «Он учит французов, как им переводить русские стихи на французский язык». Сидевший рядом немецкий профессор-русист недовольно проворчал: «Он и нас пытался учить».

— А что, — со своей неповторимой усмешкой воскликнул Виктор, — я не против, пусть бы и меня поучили, как переводить русские стихи на польский.

— Знаешь, — ответила я, — это очень просто. Это и я могла бы. Я сказала бы тебе, что польский язык не переносит скопления мужских рифм. Ты бы меня послушался, и не было бы твоего гениального перевода «Двух часов в резервуаре»...

Виктор опять заулыбался, он был доволен похвалой и даже не спорил.

А его несравненный перевод «Жил Александр Герцович»? Впервые я услышала его как песню — еще до эмиграции и знакомства с Виктором, на концерте Эвы Демарчик в московском кинотеатре «Варшава»...

В 80-е годы Виктор перевел и выпустил в независимом издательстве книгу стихов Ирины Ратушинской, тогда еще узницы мордовских лагерей. Он очень верил в нее, всегда о ней спрашивал и огорчался, что в последние годы она как будто перестала писать.

Но, конечно, главной его русской любовью был Геннадий Айги. Он много переводил его, писал о нем (его статья о поэзии Айги была напечатана в «Вестнике РХД»). Этот таинственный поэт затрагивал какую-то особую струну в душе Виктора, которого по ошибке принято было считать человеком в первую очередь разумным, едва ли не слишком рациональным.

А Виктор был... — ну, конечно, он был не безумным, а разумным, но не до сухой рационалистичности. А главное, он был именно хорошим человеком, бесконечно добрым, хотя, когда надо, и твердым. Никогда не забуду гостеприимного дома Ворошильского, где Виктор и Янка, его жена, принимали меня в мою первую, полулегальную поездку в Польшу в авгу-



сте 1988 г.*, где собрались наши общие друзья, где я бывала и в другие приезды, уже в свободную страну, и всегда чувствовала себя как дома.

Осенью 88-го я получила от Виктора письмо. Он писал, как радостно было принимать меня в Варшаве, а затем прибавлял: «А сейчас я напишу тебе такое, что ты меня сразу разлюбишь...» Он получал «Русскую мысль» через сына, живущего в Западной Германии, с оказией, пачками, с большим опозданием, и, прочтя, выражал мне прин-



Виктор
Ворошильский
с Булатом
Окуджавой
в ПЕН-Клубе.
Варшава,
31 мая 1992 г.

ципиальное недовольство одним из моих польских обзоров**. Я растерялась. Я знала, что, пока раскачаюсь написать, пройдет целая вечность. И позвонила.

— Виктор, — сказала я, — я с тобой совершенно несогласна, но я тебя никогда не разлюблю!

Что еще я могу сказать над этой далекой свежей могилой? Виктор, я могу быть в чем-то с тобой несогласна — главное, я несогласна с тем, что ты умер, — но я тебя никогда не разлюблю.

Да, этих брешей в действительности становится все больше, да, «уходят, уходят, уходят друзья», но пока мы живы и не разлюбим их — и друзья в нас живы, любимы и любящи.

(«Русская мысль» №4142, 26 сентября — 1 октября 1996)

* Виктор сказал мне тогда: «Наташа! Ты нам привезла забастовки!» (я приехала 15 августа, в день, когда началась забастовка на Гданьской верфи, тут же перекинувшаяся на всю страну). — Прим. 2000 г.

** Может быть, уже стоит рассказать, в чем дело. В мае 1988 г. Варшаву посетил Горбачев (еще не «президент СССР», а только генсек ЦК КПСС). В своем еженедельном обзоре польских событий в «РМ» я привела цитаты из нескольких интервью, которые дал ряду западных изданий Адам Михник, полный восторженных ожиданий, и озаглавила обзор «Вот приедет барин...». — Прим. 2000 г.

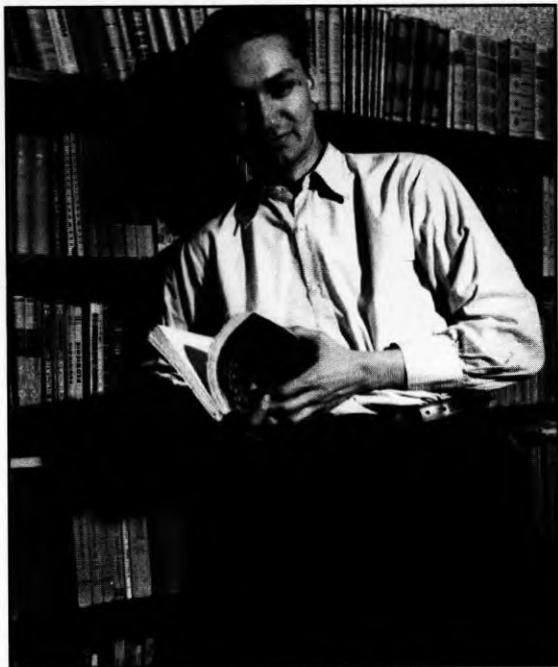


Виктор Ворошильский

Из новых переводов
Натальи Горбаневской

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Виктор
Ворошильский
в Щецине
около 1950 г.



* * *

Не ездят ты в город детства,
там нет его, не было будто,
а детская чистая речка
волною бормочет мутной.

По аллеям тенистым
чужие стоят постаменты,
по проспектам огнистым
чужие звучат комплименты.

Макеты и манекены
дыханье и дух забили.
Кто знал твою речь — онемели,
кто взглядом дарил — погибли.

Нет, нет! На вокзал — однажды
уже твой отъезд видавший,
в развалинах нараспашку,
в морозе и гари лежавший.

Там ныне звенят копыта
трех всадников-чужеземцев,
твердящих, что нет возврата,
рубающих память о детстве.



1955



ЧЕТЫРЕ ЗИМЫ

Первая зима — заморозила,
до ледышки в жилах кровь заворозила.

Вторая зима снегом замела —
ничего не вижу, не знаю, не слышу.

Третью зимой в сугробе под корой
что-то там тайное шевелилось, таяло.

А теперь четвертая на землю легла,
сердце не стерпит — треснет как скала.

1955

ГОРОД

И это мне в переизбыток,
и это — в памяти, как в жесте:
по крошеву небес разбитых
хрустеть подошвой в Будапеште.

Спуститься ниже, но не к пеклу,
до погребного лазарета.
Врачам отдаться под опеку —
измученным кротам без света.

Глядеть, как сыворотка крови
из склянки медленно сочится,
глядеть на раны, знать о боли
и видеть оком очевидца.

И выйти. И, в руинах стоя,
опять уверовать без гнева
в то склеенное, голубое
и даже с ангелами небо.

Ноябрь 1956

НЕЛЕПО

Нету. Как камень в воду.
Жалостно не доискался.
Ждал я, да не дождался.

В воду, в огонь, в непогоду.
Неразумно, ненужно.
Недоглядел я недужно.

Не договорил, не дослышал.
Не дотронулся.
Недовышел.

В окно не видать уже солнца.
Недосмотрел, хоть старался.
Ждал я, да не дождался.

1955

* * *

Уж не меняюсь а немею
Неумолимо каменею
Всё замыкается застынет
каменьем между мной и ныне
а между мной и речью снами
недоуменьем — между нами
Душа и в камне в стенки бьётся —
но колокол не шелохнётся
В прожилках камня кружит искра —
но крови не всплеснётся брызга.
Всё застывает, все утонет
в тех тонях, молчаливых столах.
И канет слов поток забвенный
и станет каменной пеной.
Об обретеньи речи немо
взмолится камень глядя в небо

1978



КОСТЕЛ

Кишиштофу

Чего я тут от чьей облавы
в этом лесу в этом костёле
скрываюсь в этом доме певчем
в слезах и пепле в свете славы.

Куда откуда возвращаюсь
как я дышу в объятьях камня
в той тайне муке отпущеньи
как умираю как рождаюсь

Что слышу в этом гулком слове
что бормочу губой сухою
о чем молюсь молю ругаюсь
что умолчу чего не молвлю

Чего я тут на этом свете
как распрямляюсь как живу я
и что дрожит во мне под ветром
качнувшим колокол и свечи

Пасха 1983



* * *

Верю Кто-то прыгает в огонь
раздвигает пламени завесу
вышибет бушующую дверь
приземлится в милостивый пепел

Мы не знаем их Мы закопченной
черной стенкою стоим вокруг
Отрываются Прodelывают брешь
Что зовет их что освобождает

Что внутри у них Пунцовый огонек
С заревом родство И значит это
внутри себя возврат А за измену
сложен им до облака костер

Первый шаг Сбиваемся теснее
В вышних голосят колокола
Блеск и треск светлеющей смолы
Там они Вытягивают руки

Выйдут и ослепшие от дыма
спотыкаясь сложат груз к ногам
развидняющейся ночи

Втихомолку
мы придушим искорки в себе

1965



НА ПРЕБЫВАНИЕ В ПОЛЬШЕ ПАПЫ ИОАННА ПАВЛА II

В твоём тепле как будто в шубе не простыв
испрашиваю милостей простых

Да отворюсь как дом стоящий настежь
чтоб дули ветры сквозь меня в ненастье

Да разгорюсь как свет окна в ночи
Найдусь как запропавшие ключи

Да преломлюсь как жаркий хлеб из печки
В дорогу двинусь как ладья по речке

Да обрету и слух и зрак и вкус
Да слов забытых снова научусь

1979

* * *

Во что-то откуда восстал я падаю вновь
Вцепляюсь судорожно в ключья слов, ключья снов
Из пальцев выскальзывает обветшалая нить
И в пальцах ничто начинает лосниться и гнить
Еще загадаю впадая в те неводы сна
В полшёпота опыта этого вязкого дна
Еще онемелую руку чуть-чуть подыму
Еще отведу накатившую жижу и тьму

1979

* * *

А слова наши высокие святые
как изодранные флаги в пустыне

А слова наши гром без отголоска
скрежет воздуха и таянье воска
струны ржавые на нёбе известка

Наших душ государи не под плачи
во второй раз помирали иначе

Так закатывалось ложное светило
наше славящее слово заходило
комом к горлу молчанье подкатило

1956

ПРИГОВОР

Осуждены на выдачу
в руки неправедных судий
речения лжесвидетелей
сами без речи без рук

осуждены на камеру-
одиночку шара-Земли
вращающейся в пространстве
с прикушенным языком

осуждены на судилище
на смерть без даты без имени
Огонь Свинец Конопля
без открытого неба

на зарыванье тайком во рвы
на гулкое забвение
на воскресенье под звук трубы
и вечное молчание

1958



Виктор Ворошильский

МОИ РУССКИЕ



Наталья
Горбаневская

«ПОЭТ, ПЕРЕВОДЯЩИЙ ПОЭЗИЮ»

Новыми переводами я хотя бы отчасти отдаю долг покойному Виктору Ворошильскому, переведшему на польский столько моих стихов. Это часть переводов, которые войдут в очередной выпуск «Польской поэзии XX века», готовящийся к выходу в свет в московском издательстве «Вахазар»¹. Для публикации в «Новой Польше» я отобрала, условно говоря, не-верлибры, т.е. стихи, задающие переводчику гораздо больше головоломок. Одну из них я решила несколько нахрапом. Стихотворение «Город» написано в 1956 г., после того как Виктор был очевидцем венгерской революции и ее жестокого подавления (см. его «Венгерский дневник», напечатанный в моем же переводе сначала в «Континенте», а затем, много лет спустя, — в «Иностранной литературе»). По цензурным соображениям оно сначала печаталось в Польше под на-

¹ Сборник, тем временем, уже опубликован, материалы же здесь напечатанные поступили в редакцию «Новой Польши» в марте сего года.

ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ

Эта книга — плод моего активного, на протяжении полувек, общения как переводчика, комментатора, биографа с русской поэзией XIX и XX столетий.

Разумеется, она содержит гораздо меньше текстов, чем довелось мне в жизни перевести. Над их выбором и примечаниями, касающимися 65 авторов (от Александра Пушкина до Ирины Ратушинской и Вероники Долиной), а также обстоятельств первой публикации некоторых переводов, я работал в последние годы, сочтя, что после того, как я подготовил свои избранные стихотворения (1992), а еще раньше — стихи для детей (1990), пришло время подвести итоги и этой важной для меня линии. О некоторых из представленных здесь поэтов я писал в свое время обширнее, посвящая им целые книги или хотя бы предисловия в антологиях и сборниках стихотворений. Некоторые из содержащихся там формулировок я повторил теперь в этих примечаниях, складывающихся во что-то вроде частного лексикона «моих русских». (...)

АЛЕКСАНДР БЛОК (...) Осенью 1991 г. в Москве меня с недоверием спрашивали, неужели я по-прежнему высоко ценю «Двенадцать»: с перспективы рушащегося коммунизма в поэме Блока начали усматривать всего лишь трагическую ошибку поэта, — но для меня это произведение оставалось великим видением, которое нельзя просто взять и отменить ходом истории.. Какие бы иные его значения ни обнаружились уже вскоре, в тот краткий момент поэт был совершенным медиумом эпохи, голосом стихии, инструментом того «гула» или, по другому определению Блока, «музыки революции». Когда и в его ушах музыка превратилась в какофонию, ему не оставалось ничего другого, как умолкнуть и умереть. (...)

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ был кумиром моей ранней молодости: я подражал ему в своих стихах и хотел, как он, чувствовать себя «революционером» в жизни и поэзии. Несколько позднее, продолжая восхищаться его воображением и головоломным мастерством его поэтического языка, я осознал, что свою



«революционность» он в лучшем случае намечтал и старался внушить ее себе и другим, на самом же деле он был поссорившимся с жизнью романтиком, алкавшим любви и страдавшим от каменного равнодушия мира. Все существование Маяковского было драмой, неуклонно стремившейся к самоубийственному финалу, — и когда я увидел его в этом свете, я одновременно понял, что из тысячи биографий поэта, опубликованных у него на родине, нет ни одной *правдивой*. И я решил написать такую, даже не столько написать, сколько — как я сформулировал это во вступлении к «Жизни Маяковского» (ПИВ, 1966; «Чительник», 1984) — собрать «документы по делу» и «сложить их в определенной последовательности в согласии со своим пониманием важности и связи событий». Пытаясь определить, к какому роду произведений принадлежит эта книга, я писал, что она ближе всего к «документальному фильму, смонтированному из старых съемок и звукозаписей». Смеем считать, что в этом фильме нет лжи, хотя несомненно есть пробелы.

Работа над биографией моего героя была затруднена еще и тем, что в те годы меня лишили возможности ездить в Москву, пользоваться тамошними архивами и библиотеками, разговаривать со свидетелями эпохи. Тем не менее я предпринял попытку одолеть тему. (...) ...больше всего я обязан великому знатоку русского авангарда Геннадию Айги, который приложил невероятный труд, разыскивая и тайно пересылая в Варшаву прямо-таки неоценимые материалы. В те времена, чтобы не расконспирировать Айги, я не мог даже выразить ему благодарность во вступлении к книге. (...)

МАРИНА ЦВЕТАЕВА (...) В свое время, переведя несколько стихотворений Цветаевой для готовившегося Северином Полляком «Избранного» (1968) и для «Антологии современной русской поэзии», я назвал ее Маяковским в юбке: «...эта взвинченная эмоциональность, этот пылкий антимещанский протест, эта гибельная любовная ненасытность и сопутствующее ей чувство неисполнения, неосуществления, отчуждения — и все это выражено драматизмом поэтической формы, драматизмом языка, синтаксисом, полным неожиданных инверсий... Как Маяковский, Цветаева бросила на чашу весов поэзии, поэтического самовыражения все свое существование. Она заходила так далеко, что если бы не была гениальна — была бы графоманкой. Но если бы не этот крайний риск, эта опасная близость графоманского «высказаться без остатка» (антитеза пастернаковской «немоте») — она не была бы гениальна» (из предисловия к анто-

званием... «Бейрут». Но внутри текста, на рифме, каждый мало-мальски посвященный поляк вместе «w mieście» («в городе») слышит «w Budapeszcie» («в Будапеште») — я осмелилась вывести это «наружу». Не знаю, одобрил ли бы это Виктор...

Сам он был замечательным переводчиком — знаю это не только по своим стихам. В одном из моих польских интервью я, помню, сказала, что считаю Ворошильского лучшим переводчиком Бродского на польский. «Как? — изумилась моя собеседница. — Не Баранчак?» Я объяснила, что Баранчак переводит Бродского, конечно, замечательно и, главное, много его перевел, а Ворошильский перевел всего несколько стихотворений, но это нечто иное, чем просто «замечательно». Это, как говорят, конгениально — или просто гениально: стихи Бродского заново рождаются по-польски.

Незадолго до смерти Виктор Ворошильский подготовил книгу под названием «Moi Moskale». Согласно традиции, ее надо переводить как «Мои русские», так как «К русским друзьям» — традиционный перевод названия знаменитого стихотворения Мицкевича «Do przyjaciół Moskali». Тут, конечно (в обоих случаях), пропадает особый оттенок: «москали», т.е. враги, а в то же время «друзья», «мои». Но смиримся с традицией, зато прочитаем несколько отрывков из книги, которая в Польше пока еще не опубликована (фрагменты из нее печатались в польской периодике, кое-что и я перевела в свое время для «Русской мысли», сейчас я постаралась выбрать отрывки особенно личные — не то, что мы и так знаем о наших поэтах, а то, что знал о них Виктор).



логии, 1971). Не отказываясь от ассоциации с Маяковским, сегодня я больше подчеркнул бы то, что ее от него отделяло: отвращение к любой групповой принадлежности, к теоретическому обоснованию и кодифицированию собственной поэтической практики, к роли знаменосца какой бы то ни было доктрины. Эта общность, о которой говорится в стихотворении, написанном в последние месяцы жизни, — не общность программы, но общность творческой силы, поэтического ясновидения. (...)

ДАНИИЛ ХАРМС (...) Имена убитых поэтов [обериутов] приговорили к небытию — и исполняли приговор так успешно, что, например, я в первой половине 50-х не столкнулся в московской литературной среде ни с упоминаниями о ком-либо из них, ни с названием всей этой группы предтеч. Лишь несколько лет спустя мне дано было открыть обериутов, чем я обязан — как и другими озарениями такого рода — неутомимому Геннадию Айги. От него Земовит Федецкий и я получили сохранившуюся машинопись поразительной пьесы Хармса «Елизавета Бам», которая впервые в мире (в нашем переводе) была напечатана в 1966 г. на страницах журнала «Диалог» (№12). Потом я переводил и печатал в «Диалоге» (1978, №4, за подписью Катажина Войтковская) малые квазитheaterальные сочинения Хармса, которые назвал его «зелеными гусынями»**, а в журнале «Пломычек» и всюду, где только удавалось, — его стихи для детей. Эти стихи вместе с рассказами в переводе моей дочери Натальи дождалась в 1991 г. книжного издания — «Тигр на улице».

ЛЕОНИД МАРТЫНОВ, сибиряк по рождению и по многолетним странствиям вдоль и поперек этой суровой земли, в стихах сотворил (заимствуя название из древнерусских былин) сказочную страну Лукоморье, особая красота которой складывалась из красок, звуков, ритмов, предчувствий, недо-молвок, грёз... За эту дерзость, после того как в 1945 г. вышла книга стихов именно под названием «Лукоморье», сразу заклеянная как аполитичная и вневременная, поэт был осужден на десять лет молчания; лишь послесталинская оттепель вернула ему голос, который чуткие к поэзии читатели слышали и полюбили. В 1955 г. я был на первом после этого перелома вечере Мартынова в Центральном доме литераторов, устроенном по случаю его 50-летия. Выступавший там Илья Эренбург приветствовал «весну поэзии», наступление которой — среди прочих ее признаков — предвещал возврат автора «Лукоморья» к читателям. Сам Мартынов, вопреки всем предшествующим бедам, тоже верил в оттепель и весну и выражал это чувство в стихах, вибрирующих ему одному свойственной мелодией; и меня привлекала эта нота надежды, так что я перевел одно его стихотворение, где говорилось, что «человечество требует песен», а также более раннее, где таинственный прохожий ведет толпу скептиков в Лукоморье, и еще несколько... Тогда я познакомился с поэтом и бывал у него в убогой комнатке на окраине Москвы. Условия, в которых он жил, дышали прозой жизни, но в разговорах Мартынов отодвигал ее в сторону и с жаром рассуждал, например, о своем любимом художнике Иерониме Босхе. Несмотря на то, что ему не удалось даже окончить гимназию, его знание всемирной литературы и искусства было внушительным, как и мастерство поэтического перевода, которым он занимался многие годы. (...)

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ (...) Он принадлежал к «поколению без биографии», к тем, у кого не забрали ночью родителей, кто не маршировал на фронт под бомбежкой, кто в день смерти Сталина затыкался первой папиросой... Когда его охватил порыв бунта, то не столько против несправедности

* «Зеленая гусыня» — «кабаре» Константы Ильдефонса Галчинского на страницах журнала «Пшекруй».



истории, сколько против пошлости, банальности того, что его окружало, против повседневной лжи, бесчувственности, неверности. Именно это инстинктивное несогласие с чем-то таким, что чувствуешь всей шкурой, но что одновременно трудно назвать, зазвучало в песнях Высоцкого. Путь к его теме вел через популярную в России традицию воровской песни; образец соблазнял отчаянностью, гордым презрением к существованию советских мещан, воспринятому как полное лжи и непорядочности и отвергнутому в пользу мнимого рыцарского кодекса «блатных», в котором якобы сохранили желанную недвусмысленность понятия смелости и трусости, верности и измены, а также любви, дружбы, самопожертвования. В этом был элемент эффектной стилизации, свидетельствующий о далеко заходящем лирическом отождествлении автора с ситуациями, которые его воображение приняло как свои. От этого позирования под блатной фольклор он никогда окончательно не отказался, но со временем оно перестало быть главным средством выражения поэта «не люблю». Драматическая и агрессивная нота тоже перестала быть единственной в его творчестве: хотя над жизнью Высоцкого, казалось, все больше тяготел какой-то опасный рок, хотя последний период был ознаменован циклом запоев и приступов наркомании, в некоторых текстах появилась непринужденная шутка, полная полета игра словами и сюжетным замыслом.

И все-таки в этом творчестве и сопутствовавшей ему легенде все время было что-то тревожное, в результате чего и после смерти Высоцкого не прекращаются споры: в самом ли деле он был, как считают одни, выдающимся поэтом или же, как считают другие, только культурным явлением, достойным внимания лишь в силу специфики восприятия.

В 1989 г. в краковском Польском музыкальном издательстве вышел составленный мною вместе с моей дочерью Натальей сборник 30 произведений Высоцкого. В предисловии я попытался ответить на этот вопрос более или менее так: он *был поэтом*, если понимать под этим определенный способ существования в мире, личность, харизму, слияние с миром и споры с ним более интенсивные, чем это случается с не-поэтами. Он *бывал* поэтом, если говорить о мастерстве, о точности и красоте слова, но, что скрывать, неожиданно бывал и как бы дилетантом... И, наконец, он был — да, конечно, и это тоже — культурным феноменом, кумиром своего времени, проблемой для социологов культуры, темой для хроникеров вкусов, навязчивых идей, мечтаний эпохи. Переводя на польский песни Высоцкого, я переводил и свою завороченность этим необыкновенным явлением. (...)

ГЕННАДИЙ АЙГИ (...) Я знал его, но это не было близким знакомством, и я не предчувствовал, что со временем Айги станет героем одного из многолетних приключений моей жизни; началом его стал момент, когда в 1962 г. он прислал мне с оказией в Варшаву машинопись в зеленой картонной обложке; эти стихи очаровали меня и возбудили, и я тут же перевел несколько из них. Это произошло вскоре после переломного в его биографии решения переменить язык своего творчества — перейти с чувашского на русский. 8 сентября 1962 г. на страницах «Политики» появился переведенный мною «Снег», а вслед за ним, на первой полосе «Штандара молодых», — еще два стихотворения (в переводах моем и Витольда Вирпши, со вступлением Алиции Лисецкой). Это были первые произведения поэта, опубликованные за границей (в то самое время, когда ни в Москве, ни в Чебоксарах его вообще не печатали) — и с этого скромного польского плацдарма поэзия Айги отправилась завоевывать мир. Сегодня, когда автор «Снега» переведен на все языки, когда только в Германии и Франции вышли десятки его книг, когда он получил многочисленные премии в разных странах и его выдвигают на Нобелевскую премию, я, хоть и далек от преувеличения своей роли, чувствую себя (что скрывать?)



счастливым и горжусь тем, что это заслуженное шествие к славе началось с нескольких переведенных мною юношеских стихов. Приключение, которое тогда началось, продолжается по сей день, главной же его прелестью все время было сближение с интенсивной, оригинальной, богатой личностью героического художника и незаурядного человека.

Была в этом приключении и парадоксальная сторона: за это время мы сердечно подружились, но ни я не мог поехать в Москву, ни он — выехать за пределы Советского Союза; мы переписывались, посылали друг другу (пользуясь посредничеством доброжелательных путешественников) стихи, книги, даже картины, но между нашим прощанием в Москве в 1956 г. и новой встречей «вживе» прошло 15 лет, а до следующей — еще 19. И все-таки это было настоящее общение, сотрудничество и взаимопомощь. Я уже упоминал, что Айги я обязан труднодоступными материалами для книг о Маяковском и Есенине, знакомством с творчеством обернутов и еще не одним указанием пути через скрытые, заросшие тропы русского искусства XX века. Я, со своей стороны, старался исполнять разные его «заказы», когда он готовил чувашскую антологию польской поэзии (от Берната из Люблина до Халины Посвятовской); она вышла в Чебоксарах в 1987 г., а годом позже, словно дополнение к ней, — мини-антология нашей современной поэзии, от Милоша до Баранчака. Это были конкретные детали нашего сотрудничества, но для меня еще важнее было то течение, та «горячая линия» размышлений о поэзии и реальной жизни, моментов горечи, страхов, даже отчаяния и тревоги (как после убийства «неизвестными» друга Айги Константина Богатырева), но в то же время и надежды, солидарности, утешения (как тогда, когда после моего интернирования Геннадий Айги с московского Центрального телеграфа послал моей жене дружескую телеграмму).

Впервые «легальный» и одновременно праздничный и триумфальный характер носила наша встреча в январе 1990 г. в Варшаве, где Айги получал премию Польского ПЕН-Клуба: просто трудно было поверить, что нам уже нечего бояться, ни от кого не надо скрываться! С тех пор мы виделись не раз — в Варшаве, Москве, Берлине и Париже и, наконец, в деревне Денисова Горка Тверской губернии, где 21 августа 1994 г. праздновали 60-летие поэта. (...)



**Владимир
Британишский**

ВСПОМИНАЯ ВИКТОРА ВОРОШИЛЬСКОГО

В июле 1963 г., когда я впервые увидел Виктора Ворошильского, ему было тридцать шесть. Но выглядел он гораздо моложе. Он всю жизнь выглядел гораздо моложе своих лет. Таким же молодым, на вид тридцатилетним, мы увидели его летом 1993 г. на одной из ближних подмосковных станций. Вылитый Виктор. Мы подошли. Незнакомец оказался родом из Гродно, откуда и Виктор. О польском поэте Ворошильском не слышал, поэзией не интересуется. «Не знаю, — написал нам Виктор, — может ли это быть мой родственник, не знаю о существовании родственников в Гродно, хотя бы и далеких. Но кто знает, как далеко странствуют гены на протяжении поколений. Я знаю уже несколько своих двойников: есть, напр., в Кракове такой ксендз Адам Бонецкий, за которого раза два меня принимали (...) когда-то я увидел себя на фотографии похорон Бориса Пастернака в Переделкине — и до сего дня не знаю, кто был этот человек, склонившийся над могилой...»

А кто был Виктор Ворошильский? «Поэт, прозаик, публицист, переводчик и знаток русской литературы, автор, в частности, биографий Маяковского, Есенина и Пушкина», — без запинки отвечает аннотация на обложке его книги фельетонов о политике и о литературе «В джунглях свободы» (1996).

Прежде всего — поэт. Это вроде бы очевидно. Но для меня — так уж сложилось — другие ипостаси Ворошильского заслоняли поначалу его главную и стержневую ипостась — поэта. Главной его книгой мне долго представлялась повесть «Сны под снегом», потом — книга о Маяковском, потом — двухтомная антология русской поэзии XX века. И это при том, что нас обоих — и Наталью Астафьеву, и меня — Виктор знал (и принимал) поначалу исключительно как поэтов. Поэтов российской оттепели. Одной из первых ласточек московской оттепельной поэзии в Варшаве как раз и был варшавский томик Астафьевой, составленный и отредактированный Виктором, томик, выход которого мы и отправились праздновать у Ворошильских (еще на Огородовой, то есть Садовой улице) в первые же дни нашего приезда в Варшаву в 1963-м. А по выходе моей третьей книги стихов в 1966 г. Виктор сразу же перевел из нее два стихотворения и напечатал: одно — эротическое — в рубрике «Альбом любовной поэзии», которую он вел в тоненьком журнальчике «Зверцядло» («Зеркало»), другое — мировоззренческое — в «Тыгоднике повсехном». Журнал «Зверцядло» оставался верен все более опальному Ворошильскому и продолжал печатать его еще многие годы, с какого-то времени под инициалами В.В., а потом даже безымянно, но печатать.

А «Тыгодник повсехный», то есть его главный редактор Ежи Турович, предоставил тогда убежище гонимому отовсюду Ворошильскому, недавнему марксисту и отнюдь еще не христианскому поэту, каким он стал гораздо позже.

Но вернусь к 1963-му. В тот год — и еще два-три года — я жадно читал не столько даже современную и классическую польскую поэзию, сколько современную польскую прозу, самую разную — от Анджеевского до Парандовского, — а в день моего



знакомства с Виктором он подарил нам новый томик своих коротких рассказов: предыдущий томик его коротких беспощадных рассказов о советской действительности сталинских лет — знаменитая «Жестокая звезда» (1958) — у нас уже был, а «Сны под снегом», одну из новинок 1963 г., мы купили по дороге к Ворошильским в книжном магазине на Аллеях Ерозолимицких близ Нового Свята.

Эта книга захватила меня с первых же страниц, едва я ее раскрыл. Она убедила меня даже до того, как я ее раскрыл: уже своим названием. Не столько сквозной аллитерированностью словосочетания «сны-под-снегом», как бы удваивающей ощущение «снега», сколько эмоциональной сутью этой метафоры. Виктору эта формула полюбилась, и, когда в январе 1972 г. он высылал вам свою антологию русской поэзии XX века, его надпись на книге: «Дорогим Наташе, Володе и (в не столь уж далеком будущем) Марине — сердечно, «из-под снега»», — напоминала о «Снах под снегом».

Виктор остался верен Щедрину и позже (он вообще оставался верен друзьям, любовям, привязанностям, это одно из его характернейших качеств) — реминисценции из Щедрина нетрудно найти в его фельетонах, писанных и двадцать лет спустя. Для меня Щедрин тоже всегда был одним из самых важных писателей, впервые я прочел его подростком, и у меня — удивительно! — он родил тогда тот же образ! России под снегом, угрюмых заснеженных сибирских лесов, окружавших село, где я прожил три военных зимы — три первых класса школы. Это было лишь одно из многих совпадений. Ворошильский оказался мне близок чем-то глубинным — ассоциациями, интонациями, ритмами своей прозы (а ведь ритмы — это уже физиология, этого не сочинишь). Даже «снами» («Нам снятся сны...» — одно из моих стихотворений, переведенных Виктором).

Повесть Ворошильского о Щедрине воспринималась совсем отдельно от всей остальной тогдашней польской и переводной прозы. Это тоже был «поток сознания», но тут вспоминалось, что «поток сознания» не «придумали» в XX веке на Западе, что он идет от Льва Толстого. В книге Ворошильского это поток воспоминаний Михаила Евграфовича, старого писателя и деятеля, перебирающего мысленно с горечью на пороге смерти всю свою жизнь. Ворошильский был много моложе своего героя, но горечи вкусить уже успел, есть в книге лиризм сопереживания, даже исповеди. Есть и та свобода, которую дает исчерпывающее знание (не только биографии героя, но и всей русской истории XIX века) и долгое размышление. Книга была как бы русской исторической прозой, написанной польским писателем. В начале 60-х годов русская историческая проза, прервавшаяся со смертью Тынянова надолго, еще не начинала возрождаться, а когда появились ее первые новые ростки, лучшими книгами о русских писателях XIX века долго оставались честные, суховатые, аскетичные, беспросветно мрачные повести Сергея Тхоржевского. В книге Ворошильского о Щедрине беспросветный мрак российской истории не становился унылым, потому что читатель все время чувствовал романтическую увлеченность Ворошильского Россией, его страстную любовь к России, хотя, конечно же, и «странную любовь» (как «странная любовь» Лермонтова к России или Словацкого к Польше). Вопреки мраку России, вечно пребывающей «под снегом». Жаль, что русский перевод этой книги Ворошильского издан был только в Лондоне (причем без указания — по тогдашним временам — имени переводчика, москвича Георгия Кухарского), а в русской печати появился лишь крошечный фрагмент этого перевода («Независимая газета», 1991, 21 сент.).

В 1966-м Виктор прислал нам свою «Жизнь Маяковского». По-русски такой книги о Маяковском не было и по-прежнему нет. Хотя все составные части книги, все тексты и документы, из которых она составлена, написаны были по-русски, а Ворошильский их «толь-



ко» выбрал, перевел и смонтировал. Монтаж этой книги восходит по своей поэтике к российским 20-м годам, открывшим роль монтажа в кинематографии, фотографии, в литературе. Мы помним книги Вересаева, читанные нами взахлеб в школьные годы в противовес хрестоматийному глянцу школьной трактовки классиков, но книги «Пушкин в жизни» и «Гоголь в жизни» оставляли ощущение, что Пушкин (или Гоголь) был «мал, как мы, и мерзок, как мы», книга же Ворошильского представляет живого Маяковского, не снижая его образ. Наоборот, книга подняла Маяковского, и для польских молодых поэтов «поколения-68», входивших в литературу на рубеже 70-х, Маяковский, именно «Маяковский Ворошильского» (и сам Ворошильский тоже), стал частью той их традиции, которую они выбирали.

Историческая правда заставляет вспомнить, что в истории «польского Маяковского» и в биографии Ворошильского были и предыдущие годы. В годы польского соцреализма и догматизма, в 1949-1953 гг., Маяковского, упрощенного, схематизированного, искаженного Маяковского, «маяковщину», насаждали в Польше сверху, и молодой Ворошильский и его товарищи в «битве за Маяковского» (так называлась нашумевшая тогда статья Ворошильского) ретиво этим занимались, а польские поэты постарше пытались сдерживать их натиск. Я не мог знать тогдашнего Ворошильского, атмосферу тех лет я мог лишь представить себе, листая подшивки старых польских газет (что и делал). Не знал я и Ворошильского московских лет, 1952-1956 гг., когда он защитил в Москве диссертацию о Маяковском и советской поэзии 20-х годов. Не знал Ворошильского 1956-1957 гг., автора корреспонденций из мятежного Будапешта, составивших «Венгерский дневник», редактора независимой варшавской газеты «Новая культура», «ревизиониста», имя которого склонял в своих докладах Гомулка. Узнал я Ворошильского-1963, на той стадии его эволюции, которая мне тогдашнему максимально отвечала.

С тех пор я следил за метаморфозами Ворошильского. Забегая вперед, сразу скажу, что во всех метаморфозах единство личности сохранялось. Это видно и на «маяковском» сюжете. К чести Ворошильского, он не отрекся от Маяковского ни в 80-х, ни в 90-х, когда отречься от Маяковского — и в Москве, и в Варшаве — стало поветрием. В последний год жизни, уже тяжелобольной, Виктор прислал нам оттиск своей новой статьи — она была снова о Маяковском.

Подобным образом он был верен «своему» Броневскому, верен до конца: и в стихотворении-воспоминании 1967 г. «Владислав Броневский», и в составленном им незадолго до смерти томе поэзии Броневского с большим предисловием, и в опубликованном тогда же в газете очерке «Мой Броневский», и в полемике о Броневском, защищая его от конъюнктурщиков, решивших оставить от Броневского горсть стихотворений, а все остальное списать. Виктор не терпел несправедливости, а видя ее, тут же бросался в очередную «битву». И так до конца.

Но, бывая сам субъективным, он умел уважать чужие субъективности, а уж тем более чужие точки зрения: «Дорогая Наташа, дорогой Володя, спасибо за письмо и номер «Литературного обозрения» с переводами Наташи из Броневского и с ее статьей о нем. Переводы очень мне нравятся (Янке тоже), в них слышен голос поэта, его подлинная интонация. Статья субъективна, что я считаю достоинством (столько уже написано «объективных» или, вернее, псевдообъективных), и вовсе мне не мешает, что на некоторые моменты я смотрю очень похоже, а на некоторые — иначе...» (из письма от 19 августа 1993).

Я забежал вперед, вернусь к 60-м годам. «Много перевожу, — пишет Виктор в открытке от 6.II.67. — Закончил работу (вместе с Мандальяном и Домбровским) над большой антологией современной русской поэзии...» Книга вышла в конце 1971 г.



В январе 1972 г. он выслал нам этот двухтомник. Для меня это была следующая — после книг о Щедрина и о Маяковском — главная книга Ворошильского. Антология «Современная русская поэзия. 1880-1967» начиналась (очень нетрадиционно, очень смело и очень точно) Случевским и Владимиром Соловьевым, кончалась Бродским и Айги. Приходится повторить о ней сказанное уже о книге «Жизнь Маяковского»: по-русски такой книги не было и нет. В конце вступительной статьи скромно названы некоторые имена, впервые представленные в Польше, футуристов названо трое: Давид Бурлюк, Елена Гуро, Бенедикт Лившиц. На самом же деле футуристов — одних только футуристов! — в этой антологии полтора десятка, в том числе Иван Игнатъев, Константин Большаков, Тихон Чурилин, имена которых в России даже теперь, в конце века, известны лишь немногим знатокам.

В антологии, во вступительной статье к ней виден был дерзкий и свободный исследователь. И — поэт.

В 1970-м Виктор прислал нам свою новую книгу стихов — «Уничтожение видов». Название переключается — чуть иронически — с названием книги Дарвина «Происхождение видов» и без всякой иронии — с названием интереснейшей новаторской книги стихов Витольда Вирпши «Маленький вид» (1960); речь, конечно, о виде Гомо Сапиенс). После книги «Уничтожение видов» я наконец по-настоящему оценил Ворошильского-поэта. Весной 1990 г., будучи у нас в Москве, а потом еще раз, в одном из писем того времени, Виктор перечислил нам с Наташей многие стихи этой книги в числе тех, которые он особенно хотел бы видеть по-русски, некоторые я перевел, некоторые, надеюсь, еще успею перевести. А в 1970-м новая книга меня убедила, но написал я о ней Виктору, по-видимому, все еще недостаточно щедро, так что ощущение обиды у Виктора продолжало нарастать. Лишь с выходом его «Избранных стихотворений» (1974) он дождался от меня таких слов, какие хотел услышать. Вот его ответное письмо (от 19.II.75): «Дорогой Володя, спасибо за письмо, ты мне доставил им большое удовольствие, особенно тем, что пишешь о своем восприятии книги о Есенине (потому что я ее в глубине души тоже трактовал как книгу о моей “недоброй любви” — о той стране) и о моих стихах. Я всегда ощущал (и продолжаю ощущать), что так или иначе беру что-то у поэтов, которые были мне близки и которых я переживал как элемент моей жизни, моего мышления, — это Ружевич, Витольд [Вирпша], Херберт, некоторые самые молодые. В то же время я ощущал, что являюсь собой, не тождественным никому другому — то, что ты вслед за Блоком называешь *чувство пути* (эти слова в письме — по-русски. — В.Б.), — и мне было горько раньше, что ты этого не замечаешь, как, впрочем, мало кто замечал еще несколько лет тому назад (и первыми, пожалуй, заметили именно самые молодые — Баранчак, Крыницкий, Березин, признаваясь одновременно в известном моем — наряду с Витольдом, наряду с Хербертом — влиянии на них). Если ты теперь это видишь, это для меня особенно важно, потому что твое знание всей польской поэзии и проницательность в ее прочтении уникальны в масштабе не только российском».

К февралю 1975 г. Виктор знал уже целый ряд моих опубликованных к тому времени статей о польской поэзии (о барокко, о Стаффе, о 20-х годах, об Ивашкевиче, о Леце, о современной поэзии), переводов же моих опубликовано было немного, но Виктор знал и часть неопубликованных. Например, мой перевод поэмы Витольда Вирпши «На тему из Горация». Я перевел эту поэму и еще несколько стихотворений Вирпши летом 1966 г., весной 1967 г. послал эти переводы Виктору. По поводу «темных» мест некоторых стихотворений у меня были сомнения и вопросы, а я знал, что Виктор с Вирпшей издавна дружит. Виктор не замедлил откликнуться: «Твои переводы из Вирпши мне лично кажутся удачны».



ми: я их с подлинником не сверял, но по тону, по языку, по поэтическому синтаксису — это, несомненно, Вирпша. Что касается твоих отдельных затруднений, то думаю, что лучше всех тебе поможет сам автор. Он теперь находится за границей, но я ему послал переводы и твои вопросы — уверен, что он тебе напишет» (9.VI.67, письмо написано по-русски. Ворошильский писал и говорил по-русски безукоризненно и любил иногда это делать). Вскоре я получил письмо от Вирпши из Западного Берлина, где он находился тогда на стипендии, а летом 1968 г., в следующий наш приезд в Польшу, я провел в беседах с Вирпшей три дня напролет в Закопане, где Вирпша жил в то лето.

До 1970 г., до прихода «поколения-68», Ворошильский был одним из буквально нескольких человек в Польше, догадывавшихся о величине Вирпши как поэта и мыслителя. В начале 1970-х Вирпша остался жить в Западном Берлине. Осенью 1974 г. Виктор с Янкой выбрались на три недели в Италию и несколько дней провели вместе с Витольдом Вирпшей и его женой Марией Курецкой: «...мы посетили вместе с ними Перуджу и Ассизи — это доставило нам много радости. Здоровье Витольда значительно лучше, он, кажется, в превосходной форме, физической и творческой. О тебе он тоже спрашивал...»

В дружбах, повторяю, Виктор отличался верностью. 1983 годом датируется его стихотворение «Фотография», к 75-летию Вирпши. Вирпша скончался осенью 1985 г. в Западном Берлине, где и похоронен, а в самом начале 1986 г. в парижском журнале «Культура» появился большой очерк Виктора «Тезка» (по-польски уменьшительное от обоих имен — Витольд и Виктор — одно и то же: Витек). Московские публикации моих переводов из Вирпши появились лишь в 1997-1999 гг., ни Вирпша, ни Ворошильский их уже не увидели, но Виктор порадовался, узнав, что я вернулся к поэзии Вирпши и перевожу его стихи и поэмы зарубежных лет.

Он радовался, когда я переводил Вирпшу. Или Херберта, Ружевича, которых он ценил. Или даже Стаффа, к которому он был равнодушен, Ивашкевича, которого он — довольно долго — не жаловал. И что я написал огромную и «ученую», как Виктор выразился, статью о Кохановском, а не о польских романтиках, которых Виктор предпочитал. Более того, Виктор старался найти в моей статье о Кохановском что-то приемлемое для себя.

Возможность встретиться и побеседовать с Вирпшей была неоценимым для меня подарком Виктора. Не единственным. Он легко и щедро делился с нами всем, что знал, и всеми, кого знал. Летом 1963 г. он познакомил нас с Анджеем Брауном — с Брауном мы виделись потом, дай Бог, два-три раза, перемолвились, дай Бог, двумя-тремя словами, но книгу Брауна «Завоевание неба» (о завоевании Тибета маоцзедуновским Китаем) мы купили вскоре, и она осталась одним из самых ярких впечатлений польской прозы 60-х, столь ярким, что иногда мне кажется, будто я видел эту вещь в экранизации Вайды.

Летом 1968 г. Виктор обратил наше внимание на первый томик Евы Липской, вышедший годом раньше, но еще не исчезнувший из варшавских книжных магазинов, — мы тут же купили его. А затем покупали и второй, и третий, и четвертый, а в 1975 г. цикл переводов Астафьевой из Липской появился в «Иностранной литературе», и Виктор благодарил Наташу за эти переводы. Позже Наташа опубликовала в той же «Иностранке» переводы из Юлиана Корнхаузера и Марианны Боцян, но более полное представление о поэтах «поколения-68» дала русскому читателю лишь гораздо более поздняя публикация, подготовленная Ворошильским: Виктор отобрал большое число стихов Крыницкого, Корнхаузера, Загаевского и Баранчака, написал о них, а я перевел эти стихи и его предисловие. Этой публикации своих младших друзей весной 1993 г. Виктор радовался — в письме ко мне — ничуть не



меньше, чем собственной публикации того же времени в «Новом мире», где был напечатан цикл его стихов в моих переводах.

Оттепель в России кончилась в середине 60-х, наступили времена иные, соответственно у Натальи Астафьевой перерыв между третьей и четвертой книгой стихов разросся до двенадцати лет, у меня — до четырнадцати. Но можно было переводить. Мы оба очень много переводили и довольно много публиковали из польских поэтов. Вдохновляла нас в этой нашей работе (вначале, пожалуй, бессознательно, а потом и сознательно) великолепная антология русской поэзии XX века Ворошильского, наши переводы постепенно начинали выстраиваться в панораму польской поэзии XX века.

Но и американские поэты, которых я тоже много переводил, оказались Виктору интересны: «Твои переводы, — писал он мне, откликаясь на присланную ему антологию современной американской поэзии, — очень мне нравятся — из Каммингса, а также Уильямса, Стивенса, Шапиро и Берримена (...). Что касается Берримена, то я и сам загорелся желанием заняться им немного (я уже год учу английский, и все больше свербит у меня рука попереvodить), но не могу найти в Варшаве некоторые его тексты. В связи с этим просьба к тебе: не мог бы ты мне одолжить — если у тебя есть — его любовные сонеты или хотя бы переписать несколько из них — те, которые ты сам переводил...» (1.XII.75). Я переписал и дослал Виктору около десятка сонетов Берримена. «В этом сезоне, — продолжает Виктор в феврале 1976 г., — вообще намерен заняться главным образом переводами (и какое-то время уже занимаюсь — недавно, напр., делал Баратынского), надеюсь, что и из Берримена что-нибудь получится (хоть это трудно)...» Один из сонетов Берримена Виктор опубликовал в своем переводе и со своим предисловием в «Альбоме любовной поэзии» в «Зверцядле» — но лишь в апреле 1980 г., под инициалами В.В.

В письме февраля 1976 г. были еще и такие строки: «Немного завидую тебе, что ты вернулся к стихам, мне это случается уже, к сожалению, все реже: за весь прошлый год написал их всего пять... но, может быть, и за это нужно быть благодарным Провидению». Периоды неписания и, наоборот, интенсивного писания стихов случались у него и позже, а вот на фразу Виктора о Провидении я тогда не обратил внимания, сочтя ее обычным поэтизмом. Лишь десять лет спустя, слушая Виктора на вечере поэтов в варшавском костеле в монастыре Святого Климента, мы с Наташей увидели и услышали религиозного поэта, для нас это было неожиданностью, хотя обращение его произошло гораздо раньше, стихотворение «Костел» датировано 1983-м, но к Матери Божьей Ченстоховской он обращался еще в стихотворении 1977 года.

В костелах мы слушали Ворошильского и других варшавских поэтов, прозаиков, литературоведов — осенью 1986 г. Семь лет, 1979-1986 гг., мы не имели возможности бывать в Польше, а как раз в эти годы происходило много событий. Был 1981-й — год Солидарности, начавшийся в августе 80-го. Впрочем, Ворошильский большую часть 1981 г. провел за границей, в Западном Берлине, выезжая оттуда и в Париж. Зато 1982-й он провел в местах интернирования: его забрали на второй день после введения военного положения, а освободили в октябре 82-го. В июне, получив Наташин новый томик давней любовной лирики, Янка Ворошильская прислала в ответ открытку с четырьмя видами городка Дарлуво на балтийском побережье Польши, она писала от имени своего и Виктора, который «временно отсутствует. Дом, где он сейчас, виден в левом верхнем углу. Его адрес выше (выше на открытке было напечатано: «пансионат вроцлавского предприятия Мостосталь», этот пансионат временно стал местом интернирования не только для Ворошильского. — В.Б.). Ко-



гда он вернется домой, неизвестно. Раз в месяц я его навещаю. От всех нас всем вам сердечный привет». Геннадий Айги говорил нам, что и он получил от Янки такую же четырехвидовую открытку.

Обобщенный же пейзаж Польши времен военного положения, Польши после 13 декабря 1981 г., изобразил Ян Лебенстейн, польский художник, живший в Париже. Рисунок этот стал обложкой лондонского издания книги стихов Ворошильского «Дневник интернирования» (1984): снег, следы людей на снегу — людей, ходивших по кругу, елки вдали, колючая проволока на кольях, на первом плане на одном из кольев — сидит ворона. Ворона — по-польски «врона», то есть почти совпадает с названием пресловутого ВРОНа, который властвовал в это время в Польше. Но ворона Лебенстейна — видимо, не случайно — очень напоминает ворону, сидящую на столбе, увенчанном колесом, на картине Брейгеля «Крестный путь»: современный художник намекает, что за четыреста лет после Брейгеля Европа не слишком уж изменилась. Эту книгу Виктор подарил нам в декабре 1986 г., прощаясь с нами: мы возвращались из Варшавы в Москву, а Виктор уезжал в Западный Берлин, где ему должны были делать операцию на сердце, то самое «шунтирование», которое вскоре стало популярным, но тогда еще было в новинку. Виктор надеялся, что все будет благополучно, но и тревожился. «Наташе и Володе, — надписал он на книге, — после многих лет — и, будем надеяться, что на многие годы». Операция в начале января 1987 г. прошла удачно. Но последующих лет оказалось не так уж много: другая болезнь уже подкрадывалась и 13 сентября 1996 г. унесла его.

Он успел еще раз побывать в Берлине, побывал и в Бостоне («у радушных Баранчаков», как писал нам). Побывал и в Москве после тридцати четырех лет перерыва, как он скрупулезно подсчитал. Побывал дважды — весной 1990 и в сентябре 1991 г. В 90-м он оставил нам тонкие, почти папиросные листочки с машинописью свежих стихов, из которых попросил выбрать, что нам понравится, и перевести. В 91-м он читал эти стихи в моих переводах на своем вечере в Польском культурном центре в Москве, а через неделю вышла страница в «Независимой газете» с интервью Ворошильского, с этими стихами и с фрагментом «Снов под снегом» (в переводе Г.Кухарского),

В те дни в сентябре 1991 г. в наших местах, на Малой Грузинской и вокруг, еще пахло (или казалось, что пахнет) порохом после недавнего путча. Мы прошли с Виктором и Янкой пешком от нашего дома до Ваганьковского кладбища, зашли на могилы и Есенина, и Высоцкого, и трех несчастных мальчиков, только что попавших под колесо истории, а оттуда добрались и до Белого дома, где еще не до конца были разобраны баррикады.

В 94-м мы дважды были в Варшаве: в феврале нам вручали премии польского ПЕН-Клуба, в октябре-декабре мы приехали на два месяца на стипендии. При вручении премий в Доме литературы Виктор присутствовал, а на скромный обед в нашу честь в скромнейшем ресторанчике поблизости на следующий день прийти ему было тяжело, мы сами приехали к нему вечером того же дня. Он позволил себе по такому поводу рюмку водки. Посидели, как прежде. В октябре-декабре он, как в давние годы, трогательно заботился, чтобы мы не пропустили чего-нибудь важного из происходящего в Варшаве. Посоветовал нам обязательно сходить на выставку фотографий «Познань—Будапешт. 1956». Прислал нам пригласительные билеты на вечера Загаевского и Баранчака в Высшей театральной школе, оба как раз приехали в Польшу, новые книги обоих поэтов-эмигрантов последней волны издал в Познани Крыницкий, на обоих вечерах было битком, вечер Баранчака вообще напоминал вечер рок-звезды, студенты сидели в проходах и на сцене, кричали: «Сташек! Ста-



шек!» Виктор сидел в первом ряду, рядом с нами, и радовался успехам молодых. Бывших молодых, теперь уже почти пятидесятилетних.

Переводил он в эти последние годы уже очень немного. Тем трогательнее, что в ноябре того же 1994 г., когда Астафьева, простудившись в Варшаве, попала в больницу с тяжелейшим воспалением легких, Виктор, зная, чем поддержать дух поэта, перевел в те дни ее стихотворение и подарил ей.

В начале 1995 г. вышла последняя книга стихов Виктора — он знал, что она последняя и назвал ее: «Последний раз». В апреле он прислал мне по моей просьбе подробную расшифровку, кто есть кто в стихотворениях этой книги: «...ты просишь реальную подоснову некоторых стихов, я могу это сделать, но исключительно для твоего пользования, прося тебя, чтобы, если вы будете какие-нибудь из них переводить, — стихи публиковались бы без комментария...» Уважая это пожелание, я раскрываю — в примечании к стихотворению «Мое новое занятие» — лишь фамилии Тадеуша и Ежи (Боровский и Анджеевский), которые я угадал без подсказки Виктора. А здесь раскрою еще одно только имя: в стихотворении «Диатриба» поэт, умерший во сне («снилось ему возвращенье»), — это Арнольд Слуцкий, памяти которого Виктор посвятил когда-то «Элегию об умерших поэтах» (Арнольд Слуцкий уехал из Польши в 68-м, вскоре перебрался в Западный Берлин, поближе к Варшаве, по которой тосковал, через несколько лет умер. Поэт и священник Ян Твардовский отслужил в Варшаве мессу, хотя Арнольд Слуцкий не был католиком. Борис Слуцкий, узнав об этом, написал стихотворение «Месса по Слуцкому».

Забавно, что в моем переводе «Диатрибы» Виктора (а он успел прочесть его в рукописи) порадовала внутренняя рифма «лавры — литавры». Десятки лет писавший почти исключительно верлибры, безрифменные и очень аскетичные, Ворошильский, однако же, любил и рифмы, и регулярные размеры, хотя почти не обращался к ним в собственных стихах последние тридцать лет жизни. Исключений — всего два-три. Четырехстопным ямбом, к тому же отчасти рифмованным, написано стихотворение «Костел». Виктор видел мой перевод этого стихотворения, и ему доставили удовольствие русские ямбы перевода, он вообще любил звучание русского языка и русского стиха. То, что он так много переводил русских поэтов, позволяло ему жить как бы сразу двумя поэтическими жизнями: в одной писать верлибром, в другой — ямбом, хореем или цветаевским «дольником» (точнее — логаздом), точно воспроизводящим ритм ее цикла «Стол». Великолепно воссоздал Виктор и резкие мужские рифмы этого цветаевского цикла, по-польски это невероятно трудно, мужских рифм очень мало, Виктор пошел здесь на рифмы сколь угодно неточные, но обязательно мужские, он был прав — и победил.

Восемь стихотворений из последней книги Виктора появились в «Иностранке» в мае 1996 г., я просил редакцию в этом случае поторопиться, они поторопились, но майский номер Виктор вряд ли уже в силах был держать в руках. В апреле мы получили от него последнюю записочку:

«Завтра ложусь в больницу — будут облучать позвоночник. А там посмотрим.

Желаю вам здоровья, всяческих успехов и счастья.

Обнимаю
Ваш Виктор».



Виктор Ворошильский

Перевод
Владимира
Британишского

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

ЭЛЕГИЯ ОБ УМЕРШИХ ПОЭТАХ

А.С.¹

Сколько моих умерших каждый
с гробом под мышкой
Света радости вечной ищут они вслепую
Вечного Успокоенья очень уже запыхались
Может словарь упокоит под горстью слов
благодарных
Песенник может укроет под высоким
напевом
Сколько их со стихами со страхами
с грехами
С юным старым безумством
с недостижимым братством
Сколько моих умерших Молчат
колокольные звоны
Плачут по ним Антигоны а мир вокруг них
зеленый
Губы их шевелятся Что они высказать
тщатся

1973

ОСИП И НАДЕЖДА

Поэт есть нищий Нищенство ему
пристало Он им не унижен
Ладонь его открыта Жест
такой обычный в воздухе прозрачном
этого города этого времени Стук
палки по плитам тротуара как бы тот
сохранившийся посох
из-за семидесяти поколений
О если б
так было до конца Еще ведь столько
неведомых ему не ведающих Столько
тех что уже не успеют уже не дадут
не возьмут
Поэт есть нищий Но теперь недолго
Тем временем жена
поэта нищего копает скрытно
тайники для сокровищ Торопится нужно
спешить
Ночью копает и в яминках памяти
прячет
здесь сновиденье
здесь крик на цезуре
здесь это двестише
Я вернулся в мой город знакомый
до слез
До прожилок до детских припухлых
желез
тут и там она роет работает втайне
готовит будущий блеск и пышность
дворцов посмертных

¹ Арнольд Слуцкий (1920 – 1972) – польский поэт,
с 1968 года в эмиграции, где и скончался.



КОМПОНОВАНИЕ КНИГИ СТИХОВ

Компонование книги из старых стихов

Компонование жизни из того что было

Столько лишних слов Столько
оговорок и повторений

Не нужна здесь эта луна
эти следы на снегу
этот бред
эта любовь

Столько дыр

Потерянный год
век
фотография темноты
эхо молчанья

Где те мостики переходы связующие
звенья

Столько неуклюжих плагиатов
Подражаний
себе настоящему

Недостигнутая гармония
не сходящиеся берега

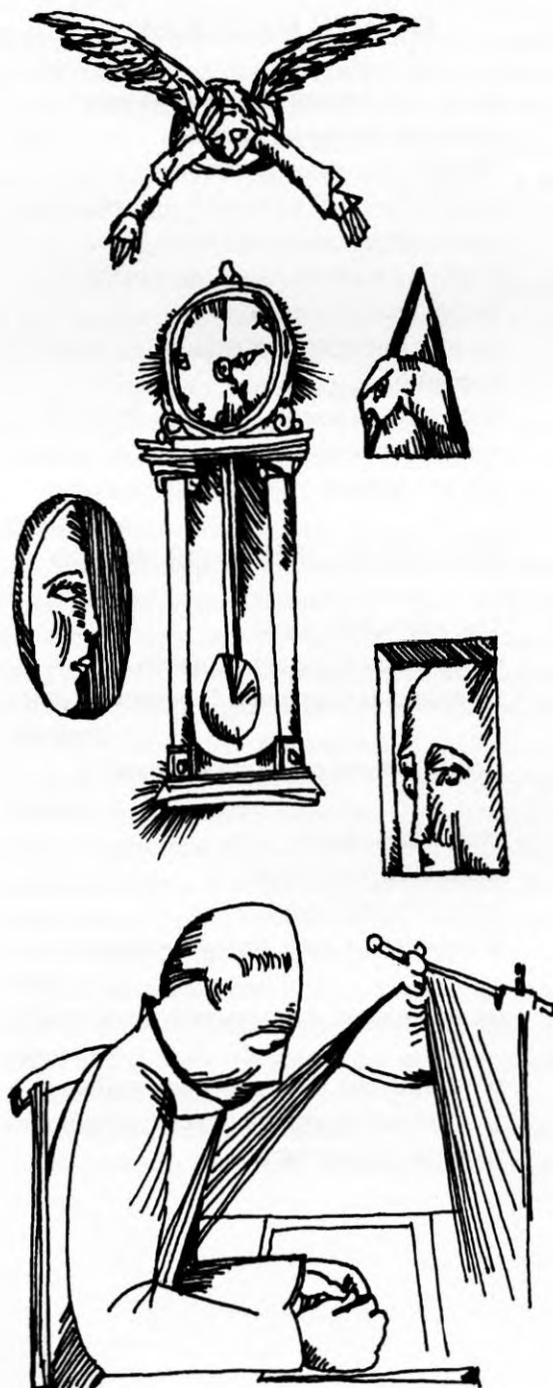
Вчера не рифмуется с позавчера

Великое Никогда
продирается
сквозь Великое Ничто

Ну поэт еще одно усилие
тут подчеркнуть
тут зачеркнуть

Скомпоновать книгу которая уже есть

Скомпоновать жизнь которая уже прошла





Я В РОССИИ, РОССИЯ ВО МНЕ

Последнее интервью Виктора Ворошильского

— Почти полвека ты переводил с русского стихи и прозу, ты — соавтор антологии русской поэзии, дружишь со многими русскими писателями, написал биографии Маяковского, Есенина, Пушкина. Откуда взялась Россия в твоей жизни?

— Она пришла ко мне в сентябре 1939-го. Мне тогда было 12 лет. Мы, помню, стояли на тротуаре, а они шли по мостовой, и моя мать удивленно сказала: “Большевики — такие маленькие?” А не прошло и двух лет, как Россия снова тянулась через город: босая, с неперевязанными ранами, униженная — ее конвоировали немцы, вооруженные, хорошо кормленные, обутое. И я проникся жалостью к этой бедняге, хотя совсем недавно дрожал от страха вместе со всей семьей: поляков вывозили в Казахстан... Прошли еще три года, и Россия вернулась. Сначала отступали немцы, и не поверишь, но в части, которая шла через нашу деревню — я тогда был в деревне близ Гродно — большинство “немцев” были русские с оккупированных территорий. Россия, бежавшая от России. Люди отчаявшиеся, решительные, мечущиеся в западне русской судьбы. После того как они прошли, несколько дней никого не было, а потом появились “настоящие” русские. Уже не взрослые мужчины — их пожрала война, — а мальчишки, мои ровесники. Им было по 17-18 лет, а выглядели они еще младше и вели себя как детишки. Они разбили в этой деревне бивуак и принялись играть в чехарду: один наклонялся, а другие через него прыгали. Эту картину я вспомнил много лет спустя, когда в начале чеченской войны приходили известия, что снова погнали на фронт пушечное мясо империи, и на фотографиях я видел, что это почти дети, ровесники моего внука.

Так что Россия приходила ко мне и уходила. И в конце концов в 1952 г. я сам поехал в Россию.

— Учиться в Москву?

— Это вышло почти случайно. Мою жену Янку, которая тогда кончила биофак, послали в Москву в аспирантуру. Я не хотел с ней расставаться и придумал себе аспирантуру в Литинституте, но люди, принимавшие решение, долго думали, можно ли послать в Россию молодого писателя.

— Чего они боялись?

— Летом 1953 г., приехав на первые каникулы, я пошел в ЦК и с полной наивностью рассказал о своем разочаровании в России, советском образе жизни и коммунизме вообще. Завотделом культуры, исключительно умный Павел Гофман кивнул: “Вот именно — того мы и опасались, что вы там сломитесь”. А секретарь ЦК Владислав Матвин, которого я и по сей день считаю порядочным человеком, озабоченно сказал: “Но согласитесь, что там много хороших людей”. Я согласился.

— Это разочарование было связано с какими-то твоими надеждами?

— Я, вероятно, был жертвой русской литературы. В июне 1941 г. бежавшие из Гродно русские оставили на соседнем дворе груды книг. Я их, разумеется, забрал себе. Это была русская классика, еще дореволюционные издания. На протяжении почти всей немецкой оккупации я читал эти книги, и меня заинтриговала так называемая, прошу прощения, русская душа. Что-то в



ней и отталкивало, но зато притягивал какой-то идеализм, утопизм, какой-то взлет в духовную вселенную, по которой я бессознательно тосковал. А еще несколько раньше — а затем и позже — я столкнулся с новой русской поэзией: Маяковским, Есениным, поэмой Блока “Двенадцать”. Ее пафос прямо захватывал — может, еще и потому, что мне хотелось быть захваченным. Не то чтобы я в Польше после войны не видел реальной действительности, хотя самых чудовищных вещей, как и многие, не осознавал. Но та нереальная действительность, то творимое светлое будущее, в которое я — и опять-таки не я один — хотел поверить, через литературные восторги затягивало меня в свой круг, и мои стихи тоже участвовали в создании этого иллюзорного мира... И столкновение с грубой, ничуть не поэтической московской действительностью ударило меня как обухом по голове.

— *Как выглядела эта московская действительность?*

— Например, в один из первых дней по приезде я увидел в Литинституте страшную драку между несколькими студентами, уже не слишком молодыми. В институте была группа участников войны — их принимали без экзаменов. И вот эти ветераны, товарищи по оружию дрались так, как будто хотели поубивать друг друга. Кто-то мне объяснил, что одни были обычными фронтовиками, а другие — из заградительных отрядов. (...) Этот первый год был для меня жутким шоком. Потом пришло какое-то оцепенение, растерянность и, наконец, момент надежды, но одновременно и страшная усталость от этого кидания из стороны в сторону.

— *Откуда взялась эта надежда — если я правильно вычисляю, зимой 1954/55 года?*

— После смерти Сталина и победы Хрущева в схватке за власть начали возвращаться люди из ссылки и лагерей. С некоторыми я познакомился и увидел, что они намного свободнее тех, кого я раньше встречал на воле. Часто это были в прошлом идейные люди, перемолотые строем, который они сами строили, и их мучили подлинные угрызения совести. Однако возвращались не только старые большевики, но и люди более молодого поколения.

В начале оттепели вернулся из казахстанской ссылки поэт Наум Коржавин. В Литинституте, где он учился до ареста, жила легенда о нем. В один прекрасный день его сажают за стихотворение, в котором он с высочайшим уважением писал о товарище Сталине, представлял себе, как не спит по ночам в Кремле “суровый, жесткий человек”. Доносчик переделал “жесткий” на “жестокий”, и Коржавина посадили, а потом отправили на рудник в Караганду. В результате этого опыта он, вероятно, принял бы эпитет в варианте доносчика — лишь бы слово вместились в ритм стихотворения.

Когда он вернулся, мы с ним проговорили целую ночь, и для моего понимания этой страны это был очень важный разговор.

— *А кто из старших возвращавшихся тебе больше всего запомнился?*

— Необычайная женщина, вдова Бруно Ясенского Анна Берзинь. Она была русская, но носила фамилию одного из своих предыдущих мужей, латышского коммуниста. Она вернулась после 17 лет лагерей и ссылки — крупная, толстая, опухшая женщина. Но стоило ей начать говорить, и никто уже не замечал ее страшной внешности. Она говорила, что за свою судьбу ни на кого не в претензии: так ей и таким, как она, и надо, ибо, еще будучи в партии, они голосовали за то, чтобы дать все полномочия Сталину.

Сам Ясенский до конца не хотел осознать, что на самом деле происходит, еще из тюрьмы писал товарищу Ежову заявления в стихах. А Анна постепенно приобретала знания о настоящем мире. Так, во время страшной переправы, когда их гнали через замерзшую реку, она простудилась, слегла с высокой температурой, и какая-то женщина ее выходила. Потом они разговаривали, и Анна между прочим сказала: “Ведь шла классовая борьба, и вы знаете, что кулаки делали: даже своих детей не щадили”. И эта женщина поклонилась ей низко и ответила: “Спасибо, де-



вушка, что пожалела наших детей”. Она была крестьянка, “кулачка”. Для Анны это был первый сигнал, что все обстоит не так, как ей раньше казалось.

У Анны собирались люди, которые пережили лагеря, в частности вдовы убитых писателей. Я знал, например, фамилию Киршона — это была малоприятная фигура, один из деятелей РАППа (Российской ассоциации пролетарских писателей), организации сверхортодоксальных марксистских литераторов. Именно рапповцы травили многих писателей, в том числе и Маяковского, как недостаточно коммунистических. А потом многих рапповцев тоже прикончили. И вот я встретил у Анны Берзинь вдову Киршона, а потом и его сына. Когда отца забрали, он был ребенком, но после войны взяли и его и дали 25 лет за то, что он стоял на улице и смотрел на проезжавшие правительственные машины: это должно было означать, что он готовил террористический акт.

Был среди возвратившихся Иван Макарьев, старый человек, бывший генеральный секретарь того же РАППа. Уже полная развалина, вдобавок алкоголик. Однажды он позвонил мне, голос у него дрожал: “Саша Фадеев застрелился. Несколько дней назад я его встретил и не подал ему руки. Если б я знал, что в нем осталась эта капля совести, подал бы”.

У Фадеева, автора “Молодой гвардии”, многое было на совести. Возглавляя Союз писателей, он, кажется, был обязан ставить свою подпись при арестах писателей.

— *Значит, ты уже тогда знал, что это не были отдельные несчастные случаи или судебные ошибки?*

— Если бы это не складывалось в такое ужасающее целое, я не вернулся бы из России таким изменившимся.

В тот первый год я действительно был страшно подавлен. Но позже к этому начало прибавляться ощущение присутствия при рождающемся сопротивлении, сдирании завес, желании восстановить справедливость. Помню, после XX съезда меня остановил один преподаватель, некто Архипов, фигура, кстати, малоприятная, и спросил: “А может, Катень — это тоже наши?” Такие были времена, что ему в голову пришла эта кощунственная мысль.

— *Ища в твоих стихах русские следы, я обнаружила “безымянных” русских, о которых ты пишешь: “...плотно закутанные в ночь”.*

— После отъезда из России в 1956 г. я там не был до 1990-го. Один раз ездил в Советский Союз, но не в Россию, а в Вильнюс и Таллинн. В 1971 г. я получил приглашение из Таллинна от переводчика моей книги для детей и по дороге мы нелегально побывали в Гродно и Вильнюсе. Томас Венцлова вызвонил из Ленинграда Иосифа Бродского — он приехал в Вильнюс, и так мы познакомились. Но об этом я уже несколько раз рассказывал.

О том, чтобы поехать в Россию как таковую, не было и речи. Зато в 60-70-е годы в Варшаву иногда приезжали русские — знакомые либо знакомые знакомых. Обычно в советском посольстве их предупреждали: “Помните: с Ворошильским не встречаться”. И все-таки некоторые под покровом темноты навещали меня и страшно гордились своей храбростью. Позже, во времена перестройки, приезжали люди, которым уже не нужно было быть такими храбрыми. У них на плечах не было того груза страха, жажды сделать что-нибудь такое, что нужно скрывать. Они были молодые, бородатые, часто религиозные. А их жены, как и положено женам, были женщины практические и занимались покупками. Об этом и говорится в стихотворении, которое ты цитируешь, — “Молодые русские, год 1989”.

— *В 1979 и 1990 гг. ты написал два стихотворения о Мандельштаме. Первое называлось “Поэт и его жена”.*

— Это название было результатом торгов с цензурой, чтобы стихи вообще могли появиться. Первоначальное и в лучшие времена возвращенное название простое — “Осип и Надежда”.

Я не раз задумывался: что могло уцелеть в России, чему суждено было погибнуть, что уцелело по счастливой случайности. Думаю, что погибло много талантливых поэтов, которые еще



не написали своих лучших стихов или написали и погибли вместе с ними. Поэзия Мандельштама уцелела благодаря Надежде Яковлевне. (...) Но, вероятно, не случайно, что женой Мандельштама была именно такая женщина. Зато случайно, что не погибла она сама с сокровищами, которые хранила в памяти. Или, может быть, это была не случайность, а чудо.

Много позже я побывал в Петербурге в музее Анны Ахматовой, в доме, где она когда-то жила. Это был уже 1990 год. Музей показывал ее поколение, людей той же, что она, культуры. И там, на стене под стеклом, было дело Мандельштама, а на обложке было написано, хорошо это помню: "...грудь и живот заросшие". И вдруг я увидел голого Мандельштама, стоящего перед этими типами, которые записывают: "грудь и живот заросшие". Отсюда возникло второе стихотворение о нем.

— *Вспоминая свое пребывание в России, ты говоришь главным образом о "хороших людях"...*

— Потому что они были интереснее, чем плохие, которых, разумеется, хватало. Так, в Москве я подружился с Робертом Рождественским. Это был способный поэт, который блеснул во время хрущевской оттепели вместе с группой других поэтов (в числе которых был и Евгений Евтушенко), читавших с эстрады антисталинские стихи. К Евтушенко, не скрою, я относился с некоторой иронией. Но с Рождественским в какой-то момент наступило долгое расхождение. И когда два года назад, после его смерти, я прочитал потрясающие произведения, которые он писал в последнее время, мне стало горько, что мы не успели помириться.

Литинститут вообще-то был задуман как питомник литературных наемников и бюрократов. Частично это получалось. Но случалось и так, что сквозь сито проскальзывали кандидаты с талантом и характером. Среди них был Фазиль Искандер, с которым у меня, пожалуй, было наибольшее взаимопонимание. Наполовину абхазец, наполовину перс, для меня он был самым европейским европейцем во всем институте. Тогда он писал стихи, и никто не знал, что он станет одним из виднейших русских прозаиков. (...)

— *Ты переводил много стихов своих коллег, которых узнал за время учебы в Москве...*

— Я издал в польском госиздате "След в море". сборник стихов очень талантливой поэтессы Юнны Мориц. Когда Юнна приехала в Варшаву, кажется, в 1977 г., она много раз приходила к нам. Однажды за ужином она мне рассказывает, что на встрече с редакцией журнала "Литература на свете" ее спросили, кого из своих польских переводчиков она больше всего ценит. Она в ответ кого-то назвала. Я не то чтобы обиделся, но удивился, почему не меня: мне казалось, что я для нее как переводчик сделал больше всего. Юнна поразила: "По-твоему, я им должна была сказать правду? Им надо врать..." "Им" — то есть всем редакторам, потому что редакторы, будь то в Москве или Варшаве, — это "они".

Разумеется, русские были под гораздо большим давлением. Никто из них не был "нормальным", даже у антисоветчиков были советские реакции. Помнишь, ты была у нас в 1975 г., когда мы принимали Евтушенко. Он отозвал меня на кухню и спросил: "А кто из присутствующих того?.." — и застучал согнутым пальцем по оконной раме, потому что в России доносчиков называют "стукачами". Когда я ему сказал, что никто, он счел меня наивным: это представлялось ему невозможным — кто-то обязательно должен был быть.

— *Через несколько лет после возвращения из России ты написал "Сны под снегом"*, роман о Салтыкове-Щедрине. Написал от первого лица. Можно сказать, что это формальный прием, но читается книга как личная исповедь. Что такого было в его биографии или творчестве, что ты с ним отождествился?*

*Русское издание в переводе Ежи Кухарского. Лондон, „Оверсиз“ 1980



— Во время моего пребывания в Москве, когда Россия явилась передо мной чудовищной и мне было очень плохо, в рамках моих занятий в аспирантуре мне дали темой работы сказки Салтыкова-Щедрина, наименее известного классика русской литературы, которого не было среди книг, прочитанных мной во время оккупации. Сказки — это один том, к тому же тонкий, но я по этому случаю прочитал все 20 томов Щедрина. И внезапно обнаружил там советскую Россию — в сказках, а особенно в “Истории города Глупова”, где друг за другом правят градоначальники — чудаки, сумасшедшие, тираны. Карикатурны и чудовищны не только эти правители, но и подвластный им или прямо выбирающий их народ. Это безжалостная книга, прекрасная пародия на всю историю России.

Щедрин облегчил мое существование в России. Внезапно я перестал воспринимать окружающее только натуралистически, а оказался внутри некоей метафоры. Именно той, которую сконструировал Щедрин.

Вернувшись в Польшу, я некоторое время сотрудничал с радио и решил написать о нем монодраму. Я начал его перечитывать и увидел в Салтыкове и его творчестве не только модель России — всякой: и царской, и советской, — но и модель судьбы писателя, который задыхается у себя на родине.

Я начал обращать внимание на обстоятельства, в которые попал сам, например, как редактор “Новой культуры” в делах с цензурой и начальством. У меня были знакомства с людьми наверху, с властью предрержащими, велись какие-то игры, а одновременно я испытывал полную отчужденность по отношению к ним. Все это было и у Щедрина.

“Сны под снегом” я начал писать как рассказ, который мог бы быть радиомонологом. А потом вдруг увидел, что это не рассказ, а роман, и начал собирать для него материалы. У меня был друг, Александр Марьямов, член редакции “Нового мира”, который бывал в Польше (я в России уже не бывал). Марьямов привозил мне тома Щедрина, вышедшие после моего отъезда, его переписку, воспоминания о нем. Это была моя первая “русская” книга, и написать ее я мог только с помощью людей оттуда.

Не в том было дело, что, сев за эту книгу, я перевоплотился в Щедрина. Я в него перевоплощался по мере того, как писал ее: он как бы одолел меня, и до такой степени, что во второй половине книги — а мне тогда было 30 лет — я чувствовал себя старым и больным. Писал я ее не так долго, зато мучительно, весь на нервах, изболевшись.

Собственно говоря, не я воплотился в Щедрина, а он в меня. Еще и потому, что по сути я никогда не был настоящим прозаиком, не стал им и на этот раз. Я писал роман как стихотворение, разумеется, весьма специфическое. А когда пишешь стихотворение, пусть оно даже превращается в роман, то, разумеется, ты и есть лирический герой.

— Как соотносится твоя диссертация о Маяковском, написанная в России. с книгой, которую ты написал уже годы спустя по возвращении?

— “Жизнь Маяковского” — это своего рода полемика с моей же диссертацией, потому что хотя диссертация по тем временам и не была вполне ортодоксальной, но в ней по-прежнему признавалась октябрьская революция, и Маяковский этому прекрасно служил.

Когда я писал диссертацию, она мне казалась безумно иконоборческой, я оперировал не принятыми тогда понятиями, она не была испещрена цитатами из Ленина и Сталина. Но если честно — сама понимаешь...

В связи с учебой в Москве и подготовкой диссертации я встретил некоторых интересных людей. Например, профессора Поспелова, несимпатичного, невежливого, даже грубого. Но преподавал он не марксистскую, а настоящую теорию и историю литературы. Много лет спустя, уже после его смерти, я прочитал в “Русской мысли”, что человек этот вел двойную жизнь: он написал и анонимно распространил в самиздате антикоммунистическую, антимарксистскую ра-



боту [“Письмо старому другу”, включенное Александром Гинзбургом в его “Белую книгу” по делу Синявского и Даниэля и фигурировавшее на процессе Гинзбурга и Галанскова как один из главных пунктов обвинения. — Пер.]. Я в свое время ее читал, и мне в голову не приходило, что автором мог быть Пospelов.

Другим примером советского двойного мышления и существования был Анатолий Тарасенков, литературный критик, деятель Союза писателей, которого все считали подонком. Когда приказывали, например, осудить Бориса Пастернака, Тарасенков писал статью, доказывая, какой слабый поэт Пастернак, и печатал ее в какой-нибудь ведущей газете. Зато после его смерти, уже во время оттепели, обнаружилось, что в подвале он собирал всю поэзию, вышедшую в России в XX веке. Многие книги уже не существовали, были сожжены, авторов убили, а он не только собирал все это, но и составлял строгую научную библиографию. Этот труд для истории русской литературы незаменим, без него некоторые вещи пропали бы безвозвратно. Я написал об этом рассказ, вошедший в небольшой сборник “Истории”, но перенес действие в Персию, на несколько веков назад, и героем был гонитель суфийских поэтов. В этом сборнике есть и другие закамуфлированные русские следы. Например, рассказ “Хуан Гонсало” — об искушении испанского поэта, а на самом деле — о Бродском.

— В чем заключалась полемичность “Жизни Маяковского” по отношению к твоей диссертации?

— Я просто начал видеть в нем не героико-революционную фигуру, а человека, который глубоко ошибся, поставил на то, что было вымыслом, ложью, мошенничеством. Он желал быть поэтом революции, а революция его не желала и была права, потому что он не обладал теми чертами, которые ей требовались. Поэтому он должен был погибнуть.

Несколько лет тому назад я читал лекции в итальянских университетах, вот их афиша: “Кто был настоящим поэтом революции — Маяковский или Есенин?” Я считаю, что скорее Есенин, ибо большевистская революция была популистской, крестьянской, антиинтеллигентской, и, конечно, этот интеллигент Маяковский, который к ней припутался, заблуждался, считая себя поэтом революции.

Есенин как тип человека никогда не вызывал у меня сочувствия, но читал я его так же рано, как Маяковского, и откликался на его мелодию, образы... Во время немецкой оккупации у меня был томик Есенина, и некоторые стихи так мне запомнились, что еще и годы спустя я мог бы прочесть их наизусть.

Я начал писать “Жизнь Сергея Есенина”, потому что ко мне попали некоторые материалы, заинтересовавшие меня. А кроме того, у меня была та самая мысль, что настоящим поэтом революции был этот карьерист из рязанской деревни, а не интеллигент-идеалист.

— Все эти книги — прибавим еще “Кто убил Пушкина” — написаны как будто с применением совершенно разных творческих методов...

— Я сознавал, что тысяча книг, написанных о Маяковском, особенно в России, — это поток лжи и что я должен найти способ показать настоящего Маяковского. Я знал, что не могу второй раз использовать тот же прием, что в книге о Щедрине. У меня возникла идея сделать это по принципу документального кино, которое часто строится на том, что из старой архивной хроники вырезают куски и склеивают в фильм. Более того, я думал, что это может оказаться и способом обойти цензуру, которой не к чему будет прицепиться. Потому что я знал, что книга получится “неправильной”.

Но я не мог ехать в Россию и добиваться доступа в архивы. Геннадий Айги работал тогда в музее Маяковского в Москве. Он начал мне присылать — разумеется, нелегально — книги и выписки из старых газет. Не забудь, что никаких копировальных машин еще не существовало. Кроме того, я переписывался с Лилей Брик и Давидом Бурлюком.



— *Ты был лично знаком с Лилей Брик?*

— Да, я познакомился с ней, когда был в Москве, но из робости не посмел бывать у нее чаще — за все четыре года побывал только раз. У нее я и встретил Давида Бурлюка, старшего коллегу Маяковского, поэта и художника. У него были деньги, поэтому в молодости он финансировал Маяковского, а после революции удачно смылся в Америку. В Москве он появился в 1956 г., во время оттепели.

Уже взявшись за книгу, я набрался храбрости и написал и Лиле, и Бурлюку. С Лилей у меня была большая переписка.

Сплетники утверждали, что ее муж Катанян, исследователь и биограф Маяковского, женился на Лиле, чтобы быть ближе к источникам. Он был намного младше ее, так что основания для такой гипотезы были, но думаю, что он мог и в самом деле ею увлечься. Лилия навещала в Париже свою сестру, писательницу Эльзу Триоле, жену Арагона. В Париж из Москвы они ездили поездом, который всегда стоял два часа на Гданьском вокзале в Варшаве. Она меня извещала, когда они будут, и эти два часа мы проводили в вагоне с Лилей и ее мужем. Она была уже очень пожилая, но в нее все еще можно было влюбиться.

Собирая материалы к книге, я понял, что, хоть в Россию поехать не могу, зато, может быть, меня выпустят во Францию. Арагон не захотел со мной разговаривать (кажется, он был болен), но Эльза меня приняла. Она страшно любила позлословить, особенно когда говорила о женщинах Маяковского, а именно об этом она больше всего и говорила. Назвала несколько имен, которых я не знал. Это, конечно, были маргинальные сведения к “Жизни Маяковского”, тем не менее я включил их в книгу.

— *А книга о Пушкине?*

— А эта — опять-таки иная, в ней есть чисто историко-литературные фрагменты. Однако, может быть, интереснее всего последняя глава — о том, как надвигалось убийство Пушкина.

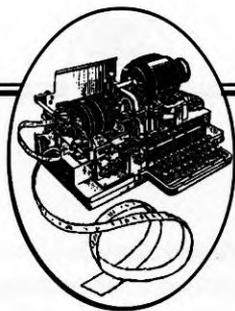
Первоначальное название было “Этот мерзавец Пушкин” — цитата из высказывания современника о Пушкине. Издатель возмутился: Пушкин для нас святыня, мы не можем выпускать книгу под таким названием. Подумав, я предложил “Кто убил Пушкина”, но и это долго не проходило. Обсуждение названия тянулось и тянулось. Мне, например, предлагали “Жизнь и творчество Александра Пушкина”. Наконец меня осенило, и я написал письмо директору издательства: “Глубокоуважаемый господин директор! Смею вас заверить, что не КГБ убило Пушкина...” И, представь себе, после этого письма они согласились.

Однако в поисках названия прошли годы, вдобавок в книге о Пушкине их тревожило еще многое, в том числе щекотливая польская линия, а тут наступил 1976 год, я оказался в черном списке, и все издательства расторгли со мной договоры. Рассыпали и набор книги о Пушкине.

Только во время первой “Солидарности” “Искры” решились подписать со мной договор. Когда было объявлено военное положение, в издательствах лежали груды рукописей, сданных в печать во время карнавала “Солидарности”, и кто-то должен был принять глобальное решение: что делать с этими книгами? Снова их зарезать или же издать, показывая, до чего мы либеральны?

Я в это время сидел в лагере интернированных, и о. Яцек Салий, приехав к нам на реколлеции [предпасхальные проповеди], привез мне корректуру “Пушкина”. От другого издателя я получил — тоже в “интернате” — сборник своих стихов. Тогда я понял, чем отличается Ярузельский от Герека. При Гереке писателей не сажали, но брали под стражу их книги, а при Ярузельском писателей сажали, а книги оставались на воле. Я предпочитаю этот вариант — книги для меня важнее. (...)

*Интервью взяла Иоанна Щенская (при участии Анны Додзик)
“Газета выборча”, 1996, 6-8 апреля*



Виктор Кулерский

ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

17 июня в Пятихатках (предместье Харькова) состоялось открытие кладбища, на котором погребены около 3800 польских офицеров, убитых органами НКВД в апреле-мае 1940 года. В торжественном открытии участвовали премьер-министры Польши и Украины Ежи Бузек и Виктор Ющенко. (*“Жечпосполита”, 19 июня*)

Останки 47 солдат Украинской повстанческой армии, погибших в боях с польскими частями, были торжественно погребены на военном кладбище в Пикулицах под Пшемыслом. (*“Газета wyborча”, 8-9 июля*)

Бронислав Геремек, бывший министр иностранных дел: “Надеюсь, что президент Владимир Путин примет решение участвовать в церемонии [открытия кладбища в Катыни]. Если он туда не приедет, это станет, на мой взгляд, потерей для польско-российских отношений. Ведь там представляется возможность подчеркнуть перспективу примирения, без которого трудно думать о нормализации”. (*“Жечпосполита”, 11 июля*)

Торжественное открытие кладбища более 4420 польских офицеров, убитых органами НКВД в Катыни, назначено на 28 июля. Ожидается присутствие примерно тысячи человек, в большинстве своем членов семей погибших, ветеранов войны и харцеров [польских скаутов]. В церемонии примут участие премьер-министр Ежи Бузек, маршал Сейма Мацей Плажинский и примас Польши кардинал Юзеф Глемп. Власти Российской Федерации будет представлять вице-премьер Виктор Христенко, “который обычно появляется там, где обсуждаются вопросы топливно-энергетического комплекса”. (*“Газета wyborча”, 22-23 июля*)

Правительственный самолет, которым 24 июля летела польская официальная делегация, готовившая траурные торжества в Катыни, был дважды задержан на аэродромах в Москве и Смоленске — в общей сложности на шесть часов. Самолет пропустили только после двукратного вмешательства польского посольства. Российские власти дали согласие на проезд лишь одного из двух запланированных специальных поездов, которые должны были привезти в Смоленск делегации объединения “Катынские семьи”, ветеранов и польской армии. Однако российская сторона согласилась на то, чтобы состав был увеличен до 22 вагонов. (*“Жечпосполита”, 26 июля*)

Во время торжественного открытия кладбища в Катыни (*“Газета wyborча” и “Жечпосполита”, 29-30 июля*):

Вице-премьер РФ Виктор Христенко: “Мы, русские,

хорошо понимаем чувства поляков, связанные с Катынью. В этой смоленской земле покоятся не только четверть с половиной тысячи польских офицеров, но и десятки тысяч наших соотечественников — так же, как и поляки, невинных жертв тайных убийств и тоталитарного террора. Но мы желаем, чтобы во имя лучшего общего будущего русские названия Катынь и Медное постепенно утрачивали зловещее для поляков звучание (...) чтобы можно было спокойно смотреть в будущее польско-российских отношений” [приводим в обратном переводе с польского].

Премьер Ежи Бузек: “Еще на целое поколение слово Катынь в Польше и во всем мире останется символом геноцида и военных преступлений. Хочу сказать от имени польского народа, что мы не успокоимся, пока не узнаем все имена граждан Речи Посполитой, убитых советскими властями, и не установим место их захоронения. Нами руководит не месть, а чувство справедливости. Справедливость предполагает также наказание за преступления (...) Сегодня перед нами лежит возможность создать нашу общую историю без ненависти и лжи”.

Янина Кремки, вдова убитого в Катыни Эдуарда: “Когда во время этих трех неполных предвоенных лет мы были вместе, когда у нас родились мальчишки, я часто думала, как я счастлива, что существует свободная Польша. Нашим мужьям не придется поднимать восстание, как их отцам и дедам; никто не сошлет их в Сибирь. Я не могла знать, что к нам судьба будет еще более жестока. Я уже несколько раз была в Катыни и каждый раз представляю себе, как два палача тащат моего мужа вниз, а потом раздается выстрел. И помню всю ложь, которую мы столько лет слышали об этом преступлении”.

Катынский лес — не только польское кладбище, но и граничащее с ним кладбище-мемориал десятков тысяч граждан СССР, убитых органами НКВД в 30-е годы. На этом кладбище, тоже открытом вчера и отделенном от польского лишь изгородью, было тихо и пусто. Здесь дежурили лишь милиция и ОМОН. Представитель смоленской областной администрации сказал: “Мы в Смоленске хотели, чтобы и на нашей части кладбища было траурное торжество: панихида, почетный караул, залп в память погибших. Чтобы приехал Владимир Путин. Но услышали, что этого не надо, что все должно быть скромно и без стечения народа. Жаль!” (*“Газета wyborча”, 29-30 июля*)



Вальдемар Кучинский, участник недавней конференции в Москве, организованной Польским институтом и Российским государственным гуманитарным университетом, написал: "На конференции — московская интеллигенция, прекрасная, контактная, доброжелательная. Очень встревожены арестом Гусинского. Такое ощущение, будто в людях дрогнул постоянно присутствующий, хотя, казалось бы, уже умерший, красный страх. Говорю одному из участников: "Мы, поляки, продолжаем бояться России". — Нашей конкуренции? — "Нет, ваших танков". И слышу в ответ: — Мы тоже, мы тоже". ("Впрост", 9 июля)

Еще одно кладбище из числа тех, на которых будут покоиться около 500 тыс. немецких солдат, погибших в Польше во время II Мировой войны, создается в Глинне под Щецином. На строительстве кладбища, предназначенного для 20 тыс. погибших в Западном Поморье, работают вместе польские и немецкие солдаты, а также молодежь из обеих стран. ("Жечпосполита", 4 августа)

Останки нескольких красноармейцев, погибших во время II Мировой войны, обнаружены в деревне Белица. В ожидании решения о погребении останки хранятся в сельском правлении. ("Газета wyborca", 13 июля)

Предъявлено обвинение бывшему коменданту транзитного лагеря для немцев [выселяемых из Польши после войны] в Ламбиновице под Ополем. Он предстанет перед судом в силу международных конвенций о преследовании военных преступников. В истории польских судебных органов это первый случай предъявления польскому гражданину обвинения такого уровня. Кшиштоф Сверкуш из окружной комиссии расследования преступлений против польского народа сказал: „Ламбиновице — это пример нашего варварства". ("Газета wyborca", 8-9 июля; "Политика", 5 августа)

Президент Александр Квасневский во время однодневного визита в Москву вручил высокие государственные награды четырем офицерам российского МВД, участвовавшим в освобождении двух полков, похищенных в Дагестане. ("Жечпосполита", 12 июля)

Россия выступила с проектом строительства новой трассы газопровода в Словакию в обход Украины. Глава "Газпрома" Рем Вяхирев не скрывал, что это обеспечит экономический нажим на киевские власти. ("Жечпосполита", 12 июля)

Вице-премьер Польши Януш Штейнхоф сообщил, что правительство не согласилось утвердить трассу газопровода через юг Польши, которая позволила бы России обойти украинскую систему транзитных газопроводов. Одновременно он признал, что переговоры о строительстве второй нити ямальского газопровода через территорию Польши будут продолжаться. ("Жечпосполита", 22-23 июля)

Президент Александр Квасневский: "Польские государственные интересы, моя политика, деятельность правительства однозначны: нельзя делать ничего, что

было бы направлено против Украины (...) нас обязывает железный политический принцип: мы не делаем ничего противоречащего интересам Украины, и украинская сторона получает обо всем полную информацию". ("Газета wyborca", 12 июля)

Министр Марек Сивец по возвращении с заседания консультативного комитета президентов Польши и Украины: "Украинцы сказали нам, что российские СМИ заливают их пропагандистской информацией и что их, украинцев, интересуют любые формы присутствия польских СМИ на Украине. Их интересует создание совместных радио- и телевизионных станций". ("Газета wyborca", 1-2 июля)

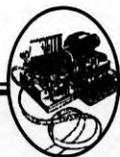
В Хайнувке близ Беловежи Войцех Рынашевский открыл бар "У Володи": "Внутри зазывает широко улыбающийся человек в мундире КГБ. В баре гремят революционные песни. А на столах лежат пропагандистские журналы, в которых восхваляются достижения советских ученых (...) Бар напоминает музей революционного движения, какие были в 60-70-х годах (...) Знамена с пятиконечной звездой, бюсты Ленина, коллекции орденов и медалей. Можно послушать гармошку, выпить "Столичной", закусить огурчиком (...) переселиться в один из 50 мундиров братской армии". ("Газета wyborca", 1 июля)

Пшемислав Масёнжек и Ярослав Вось, молодые члены клуба автотуризма, выехали 19 июля из Яблонны под Варшавой во Владивосток. Они ведут грузовик ГАЗ-66 производства 1980 г. и везут четыре колокола, отлитые на средства Союза сибиряков для костела Богородицы во Владивостоке. Маршрут идет через Киев, Уфу, Иркутск, Читу, Хабаровск. За ходом путешествия можно следить в Интернете: <http://www.penetraator.waw.pl> ("Газета wyborca", 20 июля)

В течение двух дней многие варшавские улицы были закрыты для движения в связи с конференцией "К сообществу демократии". Полиция просила варшавян "проявлять понимание". Свыше ста министров иностранных дел подписали заявление, содержащее 19 основополагающих принципов демократии и обязательство соблюдать их. Во время происходившего параллельно Всемирного форума демократии, собранного неправительственными организациями, Бетти Бао Лорд, председатель фонда "Фридом хауз" ("Дом свободы"), сказала: "Мы приехали из 85 стран в колыбель "Солидарности", чтобы подумать о том, как нам оживить демократию". ("Газета wyborca" и "Жечпосполита", 26, 27 и 28 июня)

Ежегодно 7-10 тыс. молодых поляков участвуют в летних учениях экстремистских организаций нацистского толка. После учений участников ждет практический экзамен. И вот каждое лето резко возрастает число убийств, нападений и террористических актов, на первый взгляд ничем не мотивированных. ("Впрост", 16 июля)

Комиссия Совета Европы констатировала, что "антисемитизм в польском обществе остается проблемой",



и потребовала от Польши усилить борьбу с проявлениями расизма, антисемитизма и нетерпимости. (*"Газета wyborча"*, 28 июня)

Каждый пятый паломник в Европе — поляк. В Польше свыше 500 центров паломничества, из них 85% связаны с местами поклонения Деве Марии. С недавнего времени паломничество в некоторых случаях связано с обязанностью участвовать в рекламе домашней техники. (*"Впрост"*, 16 июля)

Несколько десятков жителей Кельце участвовали в марше покаяния в 54-ю годовщину убийства 42 евреев во время погрома в Кельце 4 июля 1946 года. (*"Жечпосполита"*, 5 июля)

В церемонии по случаю 56-й годовщины начала Варшавского восстания (1 августа 1944) участвовали премьер-министр, представители парламента, ветераны войны из Польши и из-за границы, британские летчики, принимавшие участие в полетах с помощью повстанцам. Один из участников юбилея сказал: "После речи полевого епископа Славоя Лешека Глудзя мы вышли. Он представил всех. И только под конец очень коротко приветствовал самых заслуженных — ветеранов восстания. Это оскорбительно для них. При всей моей молодости мне было стыдно глядеть в глаза свидетелям тех событий". (*"Газета wyborча"*, 1 августа)

В краковском Ягеллонском университете введены лекции по новому предмету — основам хорошего тона. (*"Жечпосполита"*, 28 июля)

Государственная избирательная комиссия зарегистрировала предвыборные комитеты 15 кандидатов на пост президента, которые намерены участвовать в осенних выборах. Апелляционный суд начал люстрационное расследование в отношении всех кандидатов. [Напомним, что принцип люстрации в Польше состоит в исключении из общественной жизни не тех, кто был агентом госбезопасности, а тех, кто скрыл это. В отношении тех, кто был агентом и признался в этом, решение остается за избирателями.] (*"Газета wyborча"*, 25 июля)

Выдвинувшие свои кандидатуры президент Александр Квасневский и бывший президент Лех Валенса тоже обязаны объясниться перед судом в предполагаемых контактах с госбезопасностью коммунистической Польши. Ежи Гедройц в связи с этим сказал: "Все это дело (...) свидетельствует о том, какое падение пережила "Солидарность". (...) То, что стало теперь в Польше типичным для политических интриг, где с противником борются обвинениями и оскорблениями, — это, к сожалению, наша традиция". (*"Газета wyborча"*, 1 июля)

Президент Квасневский: "В Польше возможность обвинить любого человека и возможность защитить его доброе имя и достоинство неуравновешены. (...) Сегодня у польского гражданина нет никаких шансов успешно защитить свое доброе имя". (*"Жечпосполита"*, 26 июня)

Славомир Мрожек: "Поляки боятся самих себя и друг друга. И правильно делают, что боятся — я тоже боюсь". (*"Впрост"*, 25 июня)

Обороты рынка услуг биоэнерготерапевтов, гадалщиков, астрологов, искателей подпочвенных вод давно превысили миллиард злотых. В Польше действует свыше 50 тыс. самозванных и дипломированных целителей — больше, чем в Германии, Италии или Великобритании. Конкурировать с Польшей могут только государства, возникшие после распада СССР, откуда в Польшу приезжают тысячи целителей и чудотворцев. (*"Впрост"*, 25 июня)

Как показывают опросы ЦИОМа, число поляков, удовлетворенных жизнью, возросло. В настоящее время удовлетворение выражают 80% опрошенных, а каждый третий поляк считает себя счастливым. Число удовлетворенных растет и среди людей с низкими заработками: оно в два раза превысило число неудовлетворенных. (*"Впрост"*, 8 июля)

В некоторых польских городах уже почти полностью исчерпаны места на кладбищах. Значит, следует издать новые предписания, допускающие альтернативные формы погребения. (*"Жечпосполита"*, 1 июля)

В Польше без официального приема на работу работает свыше 1,4 млн. человек, в т.ч. 100-150 тыс. иностранцев. Нелегально работающие иностранцы чаще всего занимаются торговлей, домашними или строительными работами. (*"Жечпосполита"*, 25 июля)

"Я чищу ботинки, потому что у меня было такое видение. Я просто увидел себя в этом месте чистильщиком. Вот я и решил стать чистильщиком: нельзя же противиться своему призванию", — сказал молодой житель Еленей-Гуры. За 5 злотых в месяц он арендовал уголок тротуара на главной улице и стал чистить ботинки. На вопрос, правда ли, что за каждый ботинок он берет злотый, он ответил: "Неправда. Первый ботинок я чищу за два злотых, второй — даром. И так же старательно". (*"Жечпосполита"*, 1 августа)

Два миллиона поляков живут за чертой бедности, не имея возможности удовлетворить минимум жизненных потребностей (еда, одежда, кров над головой, тепло). (*"Газета wyborча"*, 8-9 июля)

"Поляки в целом не умеют носить шляпу. (...) Очень важно уметь носить шляпу. Трудно рассказать, как это должно выглядеть. Это нужно видеть. Шляпу надо носить попросту с достоинством. Поляки на это решительно неспособны". (*"Газета wyborча"*, 3 июля)

Лешек Миллер, председатель Союза левых демократических сил: "Помойки в Польше должны быть предназначены для выбрасывания мусора, а не для поисков еды". (*"Газета wyborча"*, 9 июня)



Лешек Бальцеревич, председатель Унии свободы: “Чем меньше в экономике популизма, тем больше благосостояния”. (“Впрост”, 9 июля)

Лешек Бальцеревич стал советником президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. (“Газета выборча”, 18 июля)

За последнее десятилетие производительность труда в Польше возросла на 216%, утверждают аналитики австрийского банка “Кредитанштальт”. Это лучший результат в Европе. Однако это не относится к неприватизированным отраслям промышленности, где самая низкая производительность труда и самые высокие зарплаты. Чем больше государственного участия — тем выше зарботки и тем ниже производительность. (“Впрост”, 2 июля)

Цена часа работы в Польше — самая высокая среди всех государств Центральной Европы. В отношении к чистой зарплате накладные расходы предпринимателя составляют почти 100%, т.е. на каждые сто злотых, выплаченных им работнику, он должен столько же отдать на налоги и страхование. Это — основная причина высокого уровня безработицы в Польше, утверждают экономисты из Центра им. Адама Смита (“Впрост”, 2 июля)

Шествие анархистов, протестовавших в Кракове против налогов, возглавляла обнаженная манекенщица на коне — подобно леди Годиве, которая именно так явилась в XI веке жителям Ковентри, сверх меры отягощенным податями. Однако в Кракове в дело вмешалась полиция, манекенщицу стащили с лошади и отвезли в участок. Она будет отвечать за нарушение общественных нравов. (“Жечпосполита”, 7 июля)

Расходы среднестатистического поляка в 1999 г.: продовольствие — 33%, содержание и оборудование жилища — 24%, транспорт — 11%, отдых — 7%, одежда — 6%, здоровье и гигиена — 4%, алкоголь и сигареты — 3%, образование — 1%.

По данным торговой инспекции, почти 12% продуктов в розничной продаже весят меньше, чем указано на упаковке. В случае дорогих продуктов, например, приправ, недобор веса доходит до 40%. (“Газета выборча”, 17 июля)

Первую партию свежих страусовых яиц продали по 100 зл. за штуку. Желавшие приобрести их в дальнейшем записываются в очередь в Варшавском зоопарке. (“Газета выборча”, 29 июня)

Один из зрителей передачи телеканала “ТВ-Польсат” рассказал корреспонденту ПАП: “Сначала ассистентка ведущего положила дождевых червей в сосуд и залила их кефиром. Оба смотрели, как черви задыхаются и пытаются выбраться. Потом с помощью миксера их превратили в коричневую жидкость, и один человек из публики ее выпил”. (“Газета выборча”, 6 июля)

Сельскохозяйственные угодья занимают 59,1% общей площади Польши. В сельском хозяйстве работают 26,7% всего занятого населения. Сельскохозяйствен-

ная продукция дает лишь 6% валового национального дохода. Средний доход одного хозяйства в Европейском союзе составляет 20 тыс. евро в год. В Польше немногим более 7% хозяйств достигают годового дохода выше 6 тыс. евро. (“Впрост”, 2 июля)

Польский павильон на всемирной выставке “Экспо-2000” в Гамбурге занял четвертое место среди 177 стран. Посетители остаются здесь в среднем 20 минут, то есть в несколько раз дольше, чем в других павильонах, а 80% посетителей, осмотрев павильон, выражают желание побывать в Польше. Польский день на выставке собрал самую большую публику и получил высшую оценку. (“Жечпосполита”, 20 июля)

“Мы ждем сообщений об общедоступных туалетах — общественных, а также в ресторанах и закусочных. Пишите, где есть вход с улицы, где грязно, где чисто (... Премия [конкурса] — комплект для мытья туалетов”. (“Газета выборча”, 21-22 июня)

Польское геральдическое товарищество, возникшее в XIX в., в 1988 г. возобновило свою деятельность и создало Центр генеалогических исследований, куда на протяжении этих лет поступило две с половиной тысячи просьб о проверке дворянского происхождения. Чтобы удовлетворить спрос, в Польше, помимо Центра, действуют еще несколько генеалогических бюро и исследовательских групп. (“Жечпосполита”, 30 июня)

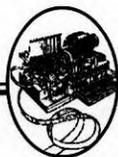
В день своего 70-летия Славомир Мрожек сказал, что больше всего не любит в людях “черты довольно распространенной и довольно человеческой, — яканья: Я, Я, Я, и как это важно, что Я есть. Отсюда рождаются такие вещи, которые осложняют жизнь ближним: агрессивность, эгоизм, то, что называют подлостью. Источник этого — разросшееся Я, отсутствие сомнений, абсолютная уверенность, что, не будь меня, не было бы ни космоса, ни Господа Бога...” (“Жечпосполита”, 24-25 июня)

При всей своей трудоемкости и долгосрочности польская модель приватизации — самая ясная; она считается лучшей в нашей части Европы. Несмотря на это, в руках государства по-прежнему остается почти 70% промышленности. По расчетам Бизнес-центр-клуба, на сохранение одного рабочего места — например, на шахте — государство доплачивает 1,5 тыс. зл. в месяц. (“Впрост”, 16 июля)

Польша занимает четвертое место в Европе (после России, Германии и Великобритании) по выбросу в воздух газов от теплоцентралей. Вклад Польши в глобальное потепление достигает 20%. (“Жечпосполита”, 22-23 июля)

Председатель Высшей контрольной палаты Януш Войцеховский в докладе о состоянии государства в 1999 г. констатирует: главная угроза стране — несоблюдение закона и коррупция. (“Жечпосполита”, 21 июля)

Президент Квасневский: “Когда бизнесмены спрашивают меня, как успешнее всего преодолеть коррупцию, я



говорю им прямо: перестаньте давать!" ("Жечпосполита", 26 июня)

✎ Проф. Илья Призель из Вашингтонского института повышения квалификации специалистов-международников: "В таких обществах, как польское, отрезанных от мира на протяжении нескольких поколений, где даже Церковь иногда производит такое впечатление, как будто II Ватиканского собора никогда не было, попытки внести цивилизацию извне или сверху могут вызвать резкое сопротивление". ("Впрост", 2 июля)

✎ Около 5-7% водителей в Польше ездят с поддельными правами. По крайней мере еще столько же сдали экзамен на права за взятку. В целом около 2 млн. человек водят машину незаконно. ("Впрост", 25 июня)

✎ В Польше действует 10 тыс. ломбардов. Официально они дают займы под залог, а неофициально — служат отмыванию грязных денег. Не было ни одного процесса организованной преступной группы, на котором среди обвиняемых не оказался бы владелец ломбарда. ("Впрост", 23 июля)

✎ Каждый год преступники продают на Запад около 10 тыс. полек. В Польшу привозят главным образом русских, турчанок и болгарок. Через Польшу идут пути продажи женщин с Востока на Запад — около полумиллиона молодых женщин в год.

✎ "Большинство — малолетки. Ждут у газетных киосков или у кассы магазина. Они "берут на рывок" — выхватывают из рук сумочки или деньги. (...) Они считают, что им всегда удастся смыться". ("Газета выборча", 19 июля)

✎ "В варшавском 175 автобусе, идущем из аэропорта в центр, группы воров в 10-15 человек окружают пассажиров, зажимают их, заламывают руки и затем грабят. Представитель полицейского управления удивляется, что люди не реагируют. Он советует кричать". ("Газета выборча", 21-22 июня)

✎ За первое полугодие 2000 г. число убийств в Польше возросло на 31%, грабежей — на 32%, вооруженных грабежей — на 23,7%, изнасилований — на 17,3%, краж — на 29,3%. ("Жечпосполита", 12 июля)

✎ 40% учащихся неполных средних и 80% — средних школ пробовали те или иные наркотики. ("Впрост", 30 июля)

✎ Одно из условий, которые обязаны выполнять учащиеся частного торгового лица в Варшаве, — раз в полгода проходить тест на наличие наркотиков в организме. ("Газета выборча", 21-22 июня)

✎ Малгожата М., педагог и организатор борьбы с наркотиками в профессиональной школе в Познани, хорошо ладила с молодежью и считалась человеком с кристальной репутацией. Она была задержана полицией, когда передавала выпускнику школы пачку амфетамина рыночной стоимостью свыше 100 тыс. злотых. ("Газета выборча", 18 июля)

✎ Вокруг церкви Матери Божией Помощницы обнаружены западни для кошек. Несколько кошек были освобождены из проволочных петель. Священник сказал: "Меня кошки не волнуют". ("Газета выборча", 27 июля)

✎ Известная певица Виолетта Виллас подобрала и содержит сто собак и двести кошек, которые были бездомными. На участке в три гектара живут собаки. "Кошек я держу в доме, — говорит артистка, — Сама занимаю только одну комнату, остальное отдала им. По совести не могу поступать иначе. Все, что зарабатываю, трачу на них — мне ничего не остается". Убежище Виолетты Виллас называется "Братья наши меньшие". ("Газета выборча", 11 июля)

✎ "Собаки бросают в лесу, когда они мешают планам проведения отпуска, — это уже стало постыдной нормой". ("Газета выборча", 3 августа)

✎ "Большие бакланы останутся у нас только до сентября, потом улетят, если выживут. Министерство охраны окружающей среды дало разрешение на их отстрел. В Польше разрешается стрелять по ним и разорять их гнезда". ("Жечпосполита", 4 августа)

✎ Славомир Мрожек: "Я теперь люблю все живое, кроме человека. Я вижу все меньше различий между собой и чем бы то ни было, что движется и даже не движется, например, растениями. Разве что речь идет о различиях с точки зрения этики, эстетики и нравственности: они значительны и далеко не всегда в пользу человека". ("Тыгодник повшехны", 6 августа)

**ГЛУБОКО СОПЕРЕЖИВАЕМ
БОЛЬ ВСЕХ НАШИХ
РУССКИХ ДРУЗЕЙ
В СВЯЗИ С КАТАСТРОФЕЙ
ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ
„КУРСК”
И ГИБЕЛЬЮ ЕЕ ЭКИПАЖА.**

Директор Национальной библиотеки
Михал Ягелло

Редакция „Новой Польши”



ТРУДНЫЕ ДЕТИ

Трудные дети, уличные дети, шпана. Социальная проблема, которая существовала всегда, но в период "реального социализма" государство делало вид, что прекрасно с ней справляется. Лучшим выходом было отправлять их в детприемники, откуда прямой путь вел в тюрьму. В последние годы польские общественные организации и деятели искусства ищут иные решения.

Изабелла Польковская УЛИЧНЫЕ

Камилю 16 лет, но выглядит он самое большее на 13. Бледный, синяки под глазами. Его родители — алкоголики. Мать все время занимает деньги у родителей его товарищей и никогда не отдает. Камиль учится в 6 классе.

Войтеку 14 лет, домой возвращаться он не любит. Он живет в двухкомнатной квартире с отцом, старшей сестрой, ее мужем и двумя их маленькими детьми. На купанье отец дает Войтеку три минуты.

— Не успеешь, проваливай! — повторяет папа сыну. Войтек больше не ходит в школу: он украл пять злотых у мамы Павла и не может показаться на глаза товарищам.

Павлу 17 лет, у него десятеро братьев и сестер. Все они вместе с родителями живут в квартире площадью чуть больше сорока метров. У отца нет постоянной работы, мать — безработная. Павел — лидер группы, любит выпить.

Все трое живут в варшавском районе Прага-Север, воспитала их улица, у всех за



спиной — конфликты с законом, они знают, что такое похмелье, а школу не любят. Об их районе варшавяне говорят: гетто, Бермудский треугольник, трущобы. Кто не слышал о царящей там нищете, всеобщем алкоголизме и разнузданной преступности? Но с недавних пор этих трех мальчиков и еще двадцатька подобных им ребят объединило нечто другое — Группа социальных занятий и педагогики, которой руководят Томаш Щепанский (22 года), Лешек Кузак (26 лет) и Петр Козловский (27 лет). Их главная задача — показать ребятам, что можно жить иначе: без алкоголя, насилия, краж.

Лешек и Томаш пошли на улицу первыми. Петр присоединился к ним семь меся-



цев назад. С педагогикой он ничего общего не имел, но, когда узнал о существовании такой группы, сразу решил, что обязан “что-то для них сделать”.

— У меня не было никакой подготовки, — говорит он, — но мне повезло.

Не хватало вожатых в летний лагерь, и его взяли с собой волонтером. Для неопытного Петра это был прыжок в воду, но он выдержал испытание.

— У меня с ними установились хорошие отношения, что облегчил мой собственный опыт. Лет в 14-15 я попал в “дурное общество”. Сегодня, глядя назад, я знаю, что от погружения туда меня спасла семья, нормальная, любящая и снисходительная. Моим подопечным придется трудно: у них такой опыты нет.

Если бы такие уличные педагоги появились у него во дворе несколько лет назад — кто знает, может быть, многих трагедий не произошло бы, считает Петр. Сегодня большинство его старых товарищей — наркоманы, торговцы наркотиками и алкоголики.

Томаша в уличные педагоги выбрала директор Социального училища, где он учился. Она знала о его работе в терапевтическом клубе варшавского района Охота, знала его заслуги волонтера в Обществе друзей детей (ОДД). Когда ему предложили работать в новой группе, он согласился без колебаний, хотя поначалу не представлял, чем придется заниматься.

Лешек с января этого года больше не работает с детьми. Он изучает ресоциализацию, теперь должен написать дипломную работу. Он уже четыре года работает в Центре социальной помощи, а уличным педагогом перестал быть, потому что не было денег на его ставку. И до сих пор к нему приходит Камиль, которому он помогает готовить уроки.

Не так-то легко расстаться с ребятами, которым ты посвятил два года жизни. Со-

скупившись по своим подопечным, Лешек договаривается с Петром, и они вместе идут на занятия.

Программа стартовала в марте 1997 года.

— Моя задача облегчалась тем, что я был в этом районе социальным работником, — вспоминает Лешек, — знал жителей и реалии здешней жизни. Люди тут крайне недоверчивы. Когда я рассказывал о новой программе помощи, они не могли поверить, что кто-то ими заинтересовался. Подозревали, что мы хотим использовать их детей — например, вывезти за границу, чтобы они там зарабатывали проституцией.

— Когда Лешек и Томек начали ходить по нашим дворам, мы стояли в подворотнях, а они к нам цеплялись, и мы были уверены, что это менты, — вспоминает Павел, один из подопечных.

— Только когда они поставили нам пиво и яйца, оказалось, что это свои парни, — перекрикивает своего брата Рафал.

— Кого-то, может быть, шокирует, что педагог пьет пиво с подопечными, но иначе мы к ним пробиться не могли, — объясняет Томаш. — Эти дети повсюду “спалились”: их выгоняли из всех учреждений, действующих в районе. ОДД, “Сердечко” [пражские клубы] — все этих ребят выкинули.

— Вначале нам надо было казаться такими же, как они, иначе они глядели бы на нас как на фраеров, — прибавляет Лешек.

Французы, создавая подобные группы, считают, что у них не должно быть постоянной резиденции — их местом работы должна быть улица.

— В течение двух лет мы пользовались маленьким помещением при Центре помощи. Этот временный клуб отлично себя показал, мы могли вместе готовить еду, ребятам было где готовить уроки, — говорит Томаш. — Но с тех пор, как нам отказали в помещении, нам некуда деваться.



Нет у них и строго разработанной программы. Группа все время экспериментирует. Когда записанное в программе не дает результатов, программа меняется в пользу действительности, как, например, с индивидуальными уроками, которые приносят лучшие результаты, чем работа в группе. Зато в группе конструктивна такая, например, работа, как психодрамы.

С тех пор, как у них осталась только улица, группа встречается дома у руководителей, во дворах, в подворотнях. Иногда родители приглашают всю кучу ребят к себе. В комнату меньше двадцати метров порой набивается человек 17 — как сегодня у семейства Рачек.

— Может, сыграем маленькую сценку? — предлагает Петр.

Сценарий, предложенный Касей, понравился: о-кей, сегодня играем в семью.

Ребята выбирают “актеров”: Кася будет мамой, Павел — отцом, а Куба и Марта — детьми. Смехом, шутками актеры подбадривают себя. Начинаем.

— А еще позже не мог вернуться? — кричит на “мужа” Кася.

Павел, “отец семейства”, явно пошатывается, что вызывает хохот.

— А тебе какое дело! — кричит “муж”. — Тружусь как вол, на вас зарабатываю — могу делать что хочу, — то по-пьяному заикаясь, то не удерживаясь от смеха, произносит Павел.

— Домой-то денег не приносишь. Дети голодные, — Кася входит в роль и уже не улыбается. “Дети” сосредоточенно, молча поглядывают. А “родители” ссорятся все яростней. Когда начинают сыпаться брань и проклятия, Петр прерывает сценку — пора обсуждать. Ребята говорят о том, что плохо в семье, что надо переменить, о том, что чувствовали актеры и зрители во время представления.

Но говорить об эмоциях им довольно трудно.

— Петр, дай-ка лучше закурить, — раздраженно говорит “отец семейства”.

Мы выходим покурить.

— Мы принимаем их такими, каковы они есть. Стараемся не заниматься морализаторством, а если уж приходится — то в замаскированной форме, — объясняет Лешек.

— Если б мы говорили: школа — это замечательно, ходите в школу, не курите, не пейте, — они бы от нас отвернулись, — добавляет Петр. — Мы можем лишь указать дорогу — это мы и делаем.

*

— Не надо быть психологом, чтобы установить, что это дети психически травмированные, с эмоциональными нарушениями, пониженной самооценкой и искаженной благодаря среде системой ценностей, — говорит школьный психолог Ярослав Адамчук. — Дети из патологических семей рождаются нежеланными, растут физически и эмоционально заброшенными, их часто бьют и даже насилуют. Огромный труд — преодолеть глубоко закодированную в подсознании уверенность, что насилие, агрессия, алкоголизм и преступность — это норма. Никто не знает этого так хорошо, как вожатые детских групп.

— Моим профессиональным, но и в высшей степени личным поражением, — вспоминает Томаш, — был случай, когда ребята обокрали мою знакомую. Несколько месяцев назад я привел во двор свою соученицу — она хотела снять фильм о нашей группе. Поставила машину у ворот. Мои подопечные выбили стекло и украли сумку.

Это был первый случай такого рода с тех пор, как они начали работу на улице, — раньше у нескольких ребят было дело за кражу со взломом, позднее уже никто не вступал в конфликт с законом.



Томаш тогда отчаялся, несколько недель не приходил на занятия.

— За это время я многое передумал, искал, в чем я виноват: может, я им мало времени посвящал? В последнее время я часто ездил на разные стажировки. А может, вся эта работа не имеет смысла, может, они уже настолько испорчены? И когда я уже готов был смириться с поражением и все бросить, пришел Лешек со снимками с летних каникул. Вся группа раскладывает костер... Я глядел на их лица и вспоминал... У Кшися матери-алкоголички нет в живых, сожитель выбросил ее из окна по пьяному делу. У Радэка отец в тюрьме, мать — безработная, с самого детства ему приходилось воровать, чтобы есть. Ромек — один из троих детей, а отец и мать оба не работают, пьют. Так можно перечислять до бесконечности.

Через два дня после кражи воры позвонили Томашу, отдали сумку, попросили прощения у его коллеги.

— Это тоже успех, — взволнованно говорит Томаш.

*

В течение двух лет они получали из Франции, кроме зарплаты для педагогов, еще по 200 злотых в месяц. Этого не хватало ни на развлечения, ни на краткосрочную помощь едой или одеждой.

— Нам пришлось искать спонсоров, — говорит Лешек.

Еду они получают от Продовольственного банка, Центр помощи часто оплачивает железнодорожные билеты, районный муниципалитет — абонементы в бассейн. Иногда находят и частные спонсоры. Отец Лешака по знакомству нашел место для летнего лагеря в Столовых горах.

Но становится все тяжелее: французы прекратили давать деньги на программу в Польше — пришли к выводу, что пора полякам действовать самостоятельно. Петр в

этом году еще не получал зарплаты. Объединение, которое они учредили под конец 1998 г., еле дышит.

— Мы только учимся управлять, точно так же, как учимся собирать спонсорские деньги, — говорит Петр.

Молодые энтузиасты из Группы социальных занятий и педагогики, кроме побед на своем пражском подворье, накопили успехи по всей Польше. Им звонят люди, которые хотят что-то делать со своей местной молодежью.

— У каждого города есть свое гетто, трудности с молодежью затрагивают всех, — говорит Томаш, который сейчас посвящает свободное время проведению стажировок: его приглашают муниципалитеты, школы, частные лица.

— Однажды после телепередачи о нашей группе мне позвонила женщина из Люблина. В ее ресторан приходили ребята, попрошайничали, стоя у дверей, отпугивали клиентов. Заметив, что официанты-студенты хорошо общаются с этими подростками, она подумала: а не создать ли что-то вроде нашей группы? Помещение у нее уже было! — с восторгом говорит Томаш. Он поехал, провел с ними три дня. Люблинская группа и сегодня продолжает действовать...

Идея создавать молодежные группы, которые выйдут на улицу, чтобы заняться трудными детьми и подростками, родилась много лет назад во Франции. Инициатор этого замысла Даниэль Кюэф вместе с другими молодыми педагогами ходил по улицам, домам, дворам, познавая реальную жизнь рабочего гетто. Когда замысел стал оправдывающей себя реальностью, французская группа решила распространить эту идею по всему миру. В 1990 г. такие группы впервые появились в варшавском районе Прага. Как и их французские коллеги, польские уличные педагоги идут к детям повсюду: на улицу, к ним домой, в школы и т.д. Сегодня они сотрудничают также с полицией.



Александр В. Ноцунь УЛИЧНЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ

Прекрасную миссию возложили на себя те, кто верит, что причины зла, насилия, агрессии таятся не в самих людях, а чаще всего в вынужденных условиях их существования. Они берутся за труд, направленный на то, чтобы переломить жизненные обстоятельства, прежде всего непосредственно пребывая с теми, кого судьба приговорила к улице.

Впервые я столкнулся с описанием деятельности лиц, групп и организаций, занимающихся на улицах городов своего рода воспитательной работой с молодежью, в книге Кшиштофа Пшецлавского “Город и воспитание” (Варшава, 1968). Идея деятельности коллективов воспитателей и многочисленных “команд дружбы” возникла в Париже в конце 40-х. Рассмотрим некоторые важнейшие принципы деятельности “команд дружбы”, разработанные и воплощенные в жизнь — не забудем — свыше 50 лет назад.

Желая установить контакт с бандой, воспитатель приходил в парк, на площадь или улицу и старался стать “одним из них”: курил, пил пиво, участвовал в их играх. Важно, подчеркивает Пшецлавский, чтобы, делая что угодно, начать с ними разговаривать. Необходимая основа деятельности — попытка приобрести авторитет в этой среде. Одни строят авторитет на своих интересах (например, знаток футбола или волейбола), другие — на своих физических достоинствах (“всех одной левой положу”) и т.д.

Основой деятельности уличных воспитателей было создание дружеских отношений с уличной молодежью. Поэтому их и стали называть “командами дружбы”. Часто воспитатель — первый и единственный, у кого найдется охота и время поговорить с юношей, выслушать его. Цель воспитателя — создать такую ситуацию, в которой подросток или юноша почувствует, что, как пишет

Пшецлавский, перед ним взрослый, для которого он представляет некоторую ценность. Что этот взрослый принимает его таким, каков он есть, вместе с его агрессивностью и робостью. Что его впервые рассматривают как человека. Этот взрослый друг не читает ему мораль, не осуждает его. И, главное, не пойдет всем про него рассказывать. Уличные воспитатели, работавшие в “командах дружбы”, были, по мнению Пшецлавского, представителями общества взрослых и своеобразным мостом между ним и уличной молодежью. Их задачей было обучать сотрудничеству, взаимодействию, пользованию свободой и своими способностями, ответственности. Только в такой атмосфере могла осуществляться программа перемен, которая касалась ценностей, способов препровождения свободного времени, отношения к труду, отношений с людьми, в том числе с собственной семьей, и т.д.

Многие из этих элементов можно найти в польских педагогических традициях, например, в деятельности воспитательных очагов для уличных детей, которой руководил Казимеж Лисецкий (“Дедушка”), в начинаниях Чеслава Чапова и Стефана Мантужевского среди малолетних преступников, в идее дворовых дружин, которые в Варшавском жилищном кооперативе создавал Тадеуш Пуделко или в последнее время — в концепции воспитания во дворе, предлагаемой Обществом друзей детей.

Уличный воспитатель — это особая миссия еще и потому, что перед лицом, берущим на себя эту роль, она ставит совершенно необычные требования и дилеммы. Известны случаи, когда воспитатель настолько отождествлялся с группой, что сам перенимал от нее ценности, часто отрицательные и асоциальные, которые ему полагалось изменить. Остаться собой и пребывать с группой, принимая ее стиль, — где между этим граница? Курить, пить пиво, одеваться



и вести себя своеобразно — да, а, скажем, наркотики — нет?

Под каким давлением находится действующее лицо этой ситуации, когда узнаёт, например, о преступлении, которое совершили, совершают или собираются совершить вся группа либо один из ее членов?

Следует осознать, что эта миссия (здесь это определение особенно уместно), взятая на себя отдельными людьми или организациями, связана с огромным самоотречением и столь же огромной ответственностью. Это неэффективный воспитательный труд, но со временем он может оказаться весьма эффективным. В какой-то мере об этом свидетельствует программа объединения “Плот”, осуществленная Рышардом Михальским в Ольштыне и Бартошицах. Поэтому органы местного самоуправления должны интересоваться такой деятельностью, поддерживать ее финансово и организационно.

ВОКЗАЛЬНЫЕ ДЕТИ

Шамотин — городок на севере Польши, который за последние несколько лет прославился благодаря Любе Зарембинской. Уже будучи известным театральным режиссером, она создала театр на здешней старой железнодорожной станции, прежде всего — чтобы работать в нем с детьми, которых некоторые называют “социально неприспособленными”.

Театр “Станция Шамотин” получил множество премий (в том числе премии министра культуры и искусства и польского Фонда культуры), он выступает в Польше и за границей.

Рассказ Любы Зарембинской

В Шамотин я попала в 1992 г., приехала в командировку. Тогда я работала в Пиле, в Доме культуры, инструктором любительских театров. Я договорилась с Лидией Возничко, которая руководила в Шамотине куколь-

ным театром, что приеду к ним на репетицию. Так началась моя дружба с Лидией, которая теперь вместе со всей своей семьей работает на “Станции”.

Вновь я приехала в Шамотин во время каникул, вести театральное мастерство. Предполагалось, что это будет одноразовое мероприятие. Я тогда всерьез хотела заняться режиссурой в профессиональных кукольных театрах, зарабатывать этим на жизнь и достичь успеха. Но за спиной у меня уже был нелегкий опыт, и я чувствовала, что это напрасный труд и что со своей концепцией детского театра мне не пробиться.

До войны в Шамотине жили рядом поляки, евреи и немцы. Увлекательным был этап поисков материалов и создания сценария спектакля. Прожив много лет в больших городах, я почувствовала, что маленький город может дать вдохновение. Я основала театр в здешнем культурном центре, поставила в нем несколько спектаклей, приезжая в Шамотин на репетиции.

В течение нескольких лет я проходила мимо шамотинского вокзала — знала, что поезда сюда уже не ходят, что вокзал стоит полупустой, открытый и полуразрушенный.

Однажды ночью я не могла заснуть и все думала об этом месте. На следующий день (помню, день был дождливый) мы с друзьями из театра пошли осматривать вокзал. Я сразу решила написать официальное заявление с просьбой сдать мне его в аренду.

Сначала мы задумали чисто театральный центр, но нам быстро пришлось передумать, потому что появились “вокзальные” дети.

Это разрушенное здание было для них замечательным местом игр. Кстати, очень опасным: ступени, ведущие в глубокие подвалы, совершенно прогнили. Помню то время, когда вокзальные помещения еще не были официально арендованы, а наше объединение еще не зарегистрировано, но ключи у меня уже были. Вокруг вокзала крутилась



группа детей — скучавших, но отнюдь не заинтересованных театром. Мы пытались втянуть их в нашу работу, но очень трудно было добиться, чтобы они регулярно приходили на репетиции. Не помогали в этом и их родители, которых совершенно не интересовало, что делают их отпрыски на вокзале и что за люди создают театральный центр. Они что-то об этом слышали, но когда мы их приглашали — не приходили.

Когда я перенесла театральные мастерские на вокзальную площадь, дети подсматривали репетиции; однажды актеры забыли слова песни, которая исполнялась в спектакле, а дети ее уже знали и напевали. Постоянно появлялись одни и те же лица. Я назвала их “великолепной семеркой”: чаще всего вокруг нас крутились семеро мальчишек.

Эти ребята не знали, что им делать со свободным временем и с расправившей их энергией. Долгое время они выбивали стекла в окнах вокзала. Когда мы вставляли их в третий раз, специалисты заявили, что надо установить сетки или решетки. Но, создавая артистический центр, по определению открытый, я не могла отгораживаться от мира решетками. Решила, что будем вставлять стекла так долго, как долго их будут вышибать. Однажды, когда снова полетело несколько стекол, я пошла на луг, где ребята играли в футбол и попросила их помочь: кто-то все время вышибает у меня стекла. Они пообещали, что больше этого не будет.

Как-то раз один из них подошел ко мне на автобусной остановке и помог донести на вокзал тяжелую сумку. Это был Яцек — он до сих пор в театре. Помню, когда мы выезжали в “театральное странствие”, ребята помогали нам паковать огромное количество реквизитов для уличного спектакля. Они все



Театр
„Станция
Шамотин” —
репетиция

время расспрашивали, когда мы уезжаем. Я не знала, в чем дело, — думала: может, они не могут дождаться, когда площадь и здание снова окажутся в их полном распоряжении? В последний день перед отъездом позвали меня — на минуточку. И вот эти семь мальчишек вручили мне коробку шоколадных конфет (не знаю, скинулись они и купили или просто украли) и сказали, что будут ждать нашего возвращения. Может быть, это еще и не было признанием в любви, но мы впервые стояли лицом к лицу. Я пожала каждому руку, желая всех запомнить.

Тогда они меня спросили, не могу ли я с ними делать театр. Я прямо ахнула: нет, в моей концепции этого не было! Конечно, я дорожила идеей театра нескольких поколений, но к такого рода педагогическому труду готова не была. Так что этим ребятам было со мной не по дороге.

Некоторые из них все-таки остались при театре. Они помогали во всяких мелких работах, заглядывали на занятия мастерством, приходили на спектакли. Когда мы играли спектакль для взрослых, весьма чувствительный, и не пустили их в зрительный зал, они все равно подсматривали. Это была наша первая публика.

Мы проводили мероприятия для людей со всей Польши и боялись, как бы у них что-



нибудь не пропало; задумывались: не открыть ли центр для этих ребят, чтобы серьезно ими заняться? Мы должны были принять решение. Моя дочь, тоже связанная со “Станцией”, сказала: “Не бери самые тяжелые случаи — мы не справимся. В этом надо разбираться как следует, а артистические дела отодвинуть на второй план”. В результате “самые тяжелые случаи” ушли сами. Но, честно говоря, не такие уж это тяжелые случаи — малого не хватает, чтобы они нормально функционировали.

Теперь группа старших детей в театре (в основном мальчиков) насчитывает полтора десятка человек. Этот коллектив сложился, когда мы начали работать над “Мальчишками с площади Оружия” по замечательной книге Ференца Мольнара о вступлении подростков в жизнь.

В этой группе примерно поровну ухоженных детей, которых родители сами к нам прислали, и “воспитательно заброшенных”. Вначале мы посвящали больше времени тем, кто более одарен театрально, хорошо учится и обладает опорой в семье. Но мы не хотели пренебрегать и теми, у кого трудности с самими собой, со школой или дома. Ими тоже надо заниматься, чтобы они развивались и имели возможность находиться среди других ребят.

Важно, какая часть группы будет оказывать влияние на другую. Последнее время все заметнее влияние “беззаботных”. Мне пришлось несколько подкрутить гайки. Сказала ребятам из крепких семей, тем, кто хорошо учится, что им полагалось бы задавать тон, а остальным — идти за ними. Заброшенные дети не могут доминировать в театре, потому что тогда действительно придется бросить театральные дела и попросту заниматься воспитанием. Мы профессионально не подготовлены к руководству подобными группами, больше опираемся на интуицию и собственный жизненный опыт.

Я никогда не скрываю от детей своих трудностей. Всегда говорю им, что если они хотят с нами работать, то должны помогать как взрослые. Бывают тяжелые дни. Они знают, что я всегда говорю “мы можем”, а не “мы должны”, но недавно мне пришлось сказать: так будет, я так решила, я так хочу.

В принципе нам не приходится заниматься ресоциализацией, но есть несколько человек, с которыми мы встречаемся не только на репетициях. У нас выделен день, когда мы помогаем им готовить уроки, вместе работаем над тем, чтобы они перешли в следующую класс. Мы расспрашиваем, не пропускают ли они школу, как ведут себя дома. Мы стараемся делать все это естественно, без всякой учебной программы, как в нормальной семье.

Артистический и воспитательный труд естественным образом переплетаются. Иногда я думаю, не принять ли в театр новую группу “трудных” мальчишек, потому что они чертовски способные, что-то в них такое есть. Думаю, сразу целую группу не возьмем, но постепенно будем принимать их в центр.

“Станцию Шамотин” создают дети. И это гораздо большее удовлетворение, чем премии за спектакли. Без детей наш центр не имеет смысла. В любой работе они первые. Я чувствую их огромную поддержку. Я всегда мечтала, чтобы у меня была такая группа, которая уже не спрашивает, что делать, потому что сама знает. Когда у нас занятия по мастерству и приезжают люди со всей Польши, ребята — отличные хозяева. Я страшно довольна, когда Яцек участвует в приготовлениях: накрывает и подает на стол; он знает, что надо постелить скатерть, принести цветы... То, чего дома трудно добиться — чтобы вымыли посуду, вынесли мусор, убрали за собой, — на “Станции” делается естественно, как нечто очевидное. Иногда я в шутку говорю, что мы “добровольный театральный отряд”.



Один мальчик, очень способный — он играл в “Мальчишках с площади Оружия”, — недавно ушел, потому что чувствовал, что в центре он вынужден работать. Меня это очень встревожило. Я всегда боялась, как бы кто не назвал ребят моими “поденщиками”. Но, когда мы завели об этом разговор, все смеялись над тем, что ему было тяжело готовить зал к репетиции. Он в этом участвовать не хотел. Я им сказала: “Но он и не обязан. Вы делаете это всё, потому что вы коллектив, вы должны приготовить зал к выступлению, быть хозяевами этого места — должны, но не обязаны”. Большинство естественно входит в ритм этой работы. Каждый выезд означает, что надо упаковывать, распаковывать, гладить костюмы, приводить в порядок реквизит и т.п. Быстро становится очевидным, что к выступлению надо готовиться самостоятельно.

Коллектив разделился на две отдельные группы — взрослых и детей. Взрослые готовят спектакли, играют в них, но часть их вообще не участвует в работе центра, в его повседневности. Дети гораздо больше интересуются, например, обустройством подвалов: им нужно место для себя, что-то вроде клуба.

Я мечтаю, чтобы часть из них в будущем здесь работала. Тем более, что некоторым трудно будет найти работу: у них трудности с окончанием неполной средней школы. Мы стараемся обнаружить, кто что лучше всего умеет. Играть в театре — это, разумеется, самое простое. Это у них лучше всего выходит, а кроме того, я умею руководить этим типом актерства (говорю это без всякого зазнайства). Зато огромное внимание требуется, чтобы во всем этом плавильном котле присматриваться, чем бы они могли заняться в будущем.

Сейчас, например, мы хотим вложить силы в уроки музыки, чтобы часть детей научилась играть на музыкальных инструментах. Стараемся раздобыть деньги на допол-

нительные уроки английского или немецкого, чего родители по недостатку средств не могут им обеспечить.

В общении с детьми мы стараемся быть внимательными — не бдительными, а просто внимательными: мы понимаем, что оказываем на них большое влияние. Мы можем передать им нашу страсть — это главное, и это передать легче всего. Нетрудно заразить страстью — труднее удержать их при себе и показать, как жить в согласии с собою.

Дети научили меня смирению. Общение с ними требует искренности и правдивости. Я не должна перед ними притворяться иной, чем я есть. Они знают меня со всем багажом моих недостатков. Например, я не могу им читать лекции о вреде курения, раз сама курю.

Я веду с ними диалог на основе взаимного приятия. Часто говорю им, что не все — для них: не только взрослый должен понимать ребенка, но и ребенок взрослого. Если я ошибаюсь или даю волю нервам, то потом нахожу в себе силы попросить прощения. Они тоже должны меня, а значит, и других взрослых понимать. Отношения у нас на равных и, раз уж я открыто признаюсь им в своих ошибках, отношения эти — честные.

Они дома или в школе твердят: “А пани Люба умеет извиняться перед нами”, — родители или учителя обижаются. То, что я умею перед ними извиниться, признаться в своих ошибках и слабостях или поблагодарить их за труд, — это самое ценное в наших отношениях. Просто мы что-то значим друг для друга.

Благодаря детям со “Станции Шамотин” я чувствую, что занимаюсь серьезной работой, что это не просто художественный замысел и моя личная концепция, как быть счастливой. Они научили меня ответственности. Раньше я никогда не испытывала ответственности за свою театральную деятельность, любую группу могла распустить и создать себе новую. А они меня держат.



Главные роли в “Улице живых и мертвых” играют трое мальчишек. Еврея Эрнста Толлера — Петр Клишевский, поляка Станислава — Яцек Глодный, а немца Макса — Лукаш Дервих.

Петр к нам попал, собственно говоря, случайно. Когда снимали фильм на основе первой редакции спектакля по пьесе Толлера, кто-то из ребят не пришел на съемки, и Петр сыграл там, придя буквально с улицы. Это было нетрудно: не нужно было играть целую роль, только отдельные съемочные сцены. А потом я о нем почти забыла.

Когда я делала вторую редакцию “Улицы”, то попросила его прийти на репетицию и уже знала, что изменю концепцию спектакля и главную роль будет играть не взрослый, а именно такой мальчишка. Я чувствовала, что спектакль будет правдивее, если это столкновение культур и религий будет показано через опыт подростков. Потом репетиции начали расплываться. Петр потерял интерес, и лишь в последний момент я его ухватила. Я ему сказала: “У нас, у взрослых, тоже свои трудности, прошу извинить, что мы так некрепко держимся, потерпи еще, и, думаю, ты будешь удовлетворен”.

Петр в это время потерял отца, его растит мать, кроме того, он переживает переходный возраст и связанные с ним трудности. Были такие моменты, которые могли закончиться его уходом или моим педагогическим поражением. Петр был одним из энтузиастов “Станции”, и его увлеченность этой работой начинала становиться опасной. Все его интересы сосредоточились на театре, он чувствовал себя хозяином. Но тянуть на себе все эти роли — в театре, дома, в школе — стало ему тяжело.

Был момент, когда он потерял доверие ко мне, а я — к нему. Но мне-то полагается быть умнее.

Мальчик повзрослел. Между нами больше нет столкновений, их место заняли отличная, глубокая работа и взаимное доверие.

Он очень способный, интуитивный актер и нуждается лишь в сдерживании излишка выразительных средств. Я ставлю перед ним трудные актерские задачи: теперь мы с ним работаем над монодрамой, а кроме того, он играет Боку в “Мальчишках с площади Оружия”. Он начал также участвовать в конкурсах художественного чтения, получил несколько премий.

Станислава играет Яцек. Два года он дождался этой роли, знал наизусть все тексты, рассчитывая, что кто-нибудь опоздает на репетицию или откажется играть. И действительно, один из ребят не пришел раз, другой, третий, потом был вынужден уйти совсем, и Яцек сразу вошел в роль, притом накануне выступления. А до этого он все время был в техобслуживании — этакий “подай-принеси”, участвовал в работах по уборке и ремонту. Я замечала, что он больше бывает у нас, чем дома: что-то, видно, там не в порядке, а родители не особенно интересовались, что с ним происходит.

Яцек опять остался на второй год, и есть опасность, что и в этом году не перейдет. Ему, видно, на это наплевать: он уже привык. Но мы с Лидией заупрямились и решили, что в этом году он должен перейти, — иначе его исключат из школы, и придется идти в “добровольные трудовые отряды”. Мы сотрудничаем с учителями, но трудности начинаются с того, что Яцека уроки вообще не интересуют.

Нас соединяет своеобразная дружба. Однажды я ему сказала: “Знаешь, Яцек, я тебя, видно, полюбила, иначе не понять, почему я так терпеливо выношу твои обманы и школьные прогулы. Видно, ты мне нужен”.

Яцек читает с трудом. На первых репетициях он едва выговаривает текст, а потом уходит за ширму и скоро уже знает всю сцену наизусть.

Он приходит на вокзал первым и уходит последним. Он из тех, кто знает, что надо



делать, ни о чем не спрашивая и не дожидаясь распоряжений.

Думаю, Яцек у нас останется.

*

Когда я готовила с ребятами “Улицу живых и мертвых”, не хватало времени обсуждать с ними трудные исторические темы. Разумеется, на репетициях, когда мы говорим о том, кто что играет, возникают некоторые вопросы. Они по крайней мере знают, что у ребят, которые жили сто лет назад: поляков, немцев и евреев, — были не те трудности, что у них.

В спектакле по Толлеру ставится не только проблема национальных и религиозных различий, но и проблема бедности — в сцене, когда мальчишки встречаются и сравнивают, у кого с чем бутерброды. Это дает возможность поговорить о том, что одни родители богатые, а у других ничего нет, и почему это так.

В “Мальчишках с площади Оружия” мне тоже предоставляется возможность поговорить о выборе жизненного пути, о таких непростых вопросах, как патриотизм и национализм.

Один из героев, Фери Ач, вожак соперничающей банды, в нашем спектакле колеблется: стать бандитом или, как Бока и его друзья, идти на баррикады сражаться за родину. Есть такой момент, когда Фери Ач почти что повторяет монолог Боки (монолог вожаков перед битвой): “Кем я буду после этой битвы, кем будет Бока и мальчишки с площади Оружия? А может быть, когда-нибудь я буду сражаться не за уголок площади для игры, но за великую родину?” Мы размышляли, не подчеркнуть ли тут слова “за великую родину”, придав словам Фери Ача националистический оттенок, или же он перейдет от своего врага Боки некоторое благородство: он ведь все время приглядывается, на чем основан авторитет Боки.

Я им твержу: “Ребята, это очень важная сцена. Мальчик задумывается о том, кем он станет в будущем: то ли бандитом, который кулаками и палками воюет на стадионах и улицах, то ли вожаком группы, способной к благородной борьбе”.

*

Когда мы едем на гастроли по Польше, например с Эрнстом Толлером, коллектив чувствует одобрение публики, ее отклик, а значит, и ценность нашего театра. Потом они меня спрашивают: а почему этот немец так разволновался, почему была такая тишина после спектакля в Венгайтах, на который мы пригласили еврейскую общину. Мы всегда обсуждаем реакцию публики.

В Шамотине об “Улице мертвых” говорят, что это спектакль “про жидов”. Думаю, скрытым антисемитизмом страдал и один из актеров, который через некоторое время отказался в нем играть, но у него главным было другое, и этот опыт я должна уважать: во время войны он много пострадал от немцев. Прямо он мне в этом не признался, но я согласилась на его уход.

Эти фобии время от времени проявляются, хотя ежедневно мы такого не наблюдаем. Но, например, когда мы хотели добиться, чтобы на доме, где родился Эрнст Толлер, повесили мемориальную доску, домовладелец не согласился. Средства на установку доски собирался дать один немец, тоже родом из Шамотина, но пока что разговоры об этом прекратились. Если этот человек говорит, что боится вешать мемориальную доску в честь еврея, так как шамотинская молодежь может поджечь его дом, значит, по-прежнему не все в порядке. Другой вопрос: правда ли, что молодежь действительно обратила бы внимание на мемориальную доску, делала бы надписи “Jude”, а то и сожгла дом, или это просто алиби его собственной фобии?



Я сама родом русская и тоже ощущаю проблему “инаковости”.

Я хотела делать карьеру в театре и думала этим жить, но профессиональный театр требовал от меня лишь увлекательных представлений, притом таких, чтобы принесли деньги. В производственной спешке я не могла пробить важные темы, сосредоточить внимание зрителей на таких вопросах. Думаю, это удача, что судьба принесла мне возможность создавать такие спектакли на “Станции” и что люди их смотрят.

Теперь у нас появилось такое место, где ребенок ведет взрослого за руку и подсказывает, как можно жить иначе.

Записала Катажина Митцнер

ПРОТИВ НАСИЛИЯ

Марек Рау, социолог, организатор альтернативной артистической жизни, панк и анархист:

Наблюдая рост насилия и агрессивности на территории маленького города (Гродзиск-Мазовецкий), мы пришли к выводу, что надо что-то делать. В Гродзиске проблема в основном касалась групп подростков-скинхедов, враждебно настроенных по отношению к участникам других субкультур (панкам, металлистам и т.п.). Наши младшие товарищи рассказывали о все более частых избиениях, попытках запугивания, провокациях со стороны скинов. На стенах города появились свастики, кельтские кресты, надписи: “Ваффен СС”, “Белая сила” и т.п. Наступил момент, когда вся молодежь говорила уже только о драках со скинами. Когда я несколько раз прошелся по городу, чтобы посмотреть на этих “страшных скинхедов”, оказалось, что это ребята в возрасте 14-18 лет, чаще всего из трудных семей, которые ищут в группе опоры, поддержки и одобрения. Их взгляды представляли смесь, созданную чтением крайне правых газетенок, скинхед-

ских листов и фильмами типа “Четыре танкиста и собака”. В том, что они делали, проявлялись и нерастратенная энергия, и самоотречение, хотя в голове у них были Адольф Гитлер, польский “патриотизм”, “бей жидов” и т.п.

Мы решили противостоять этому и, при участии Барбары Фатыги, создали местное объединение “Дай пять”.

Барбара Фатыга, заведующая Центром изучения молодежи (Институт при-

Театр
„Станция
Шамотин”.
„Улица
живых
и мертвых”.
1999 г.





кладных общественных наук при Варшавском университете):

“Дай пять” (по-английски “Give me five” — G5) — это понимает молодежь во всем мире. Речь идет о том, чтобы протянуть друг другу руку, а не замахиваться кулаком. Мы предприняли попытку создать современную профилактику, связанную с ростом агрессивности и насилия как в молодежной среде, так и в отношениях между поколениями.

Все началось прошлым летом. У нас возник замысел создать сеть молодежных объединений, интерес которых был бы сосредоточен на сопротивлении насилию.

В нашем проекте участвуют три группы людей.

В самом начале были мои студенты, которые и пришли ко мне с этой идеей. К ним сразу присоединился коллектив Центра изучения молодежи Варшавского университета, который давно готовил большой исследовательский проект, связанный с проблемами насилия и растущей агрессивности среди молодежи. Эти исследования должны были проводиться с особой точки зрения — в перспективе изучения “нормальности”. По нашему мнению, изменилось прежде всего общественное определение того, что нормально, а что нет. Достаточно обратить внимание на постоянно повторяющиеся слова в сообщениях о преступлениях несовершеннолетних: преступники выросли в нормальных семьях, в нормальной среде. Поступок, совершенный молодым человеком, есть нечто необычайное, не вмещающееся в общественный контекст. Такие диагнозы ставят журналисты. Мы считаем их недостаточными, и именно это подсказало нам мысль, что в ощущении нормальности что-то изменилось, если вдруг т.н. нормальные польские семьи стали порождать чудовищ, покушающихся на человеческую жизнь. Поэтому на научном уровне этого проекта самое главное — изучение “нормальности”. “Дай пять” — это также люди, которые присоединились к нам по

пути, представители различных фондов и учреждений, оказавших нам поддержку, вроде фонда “Ничьи дети”, группы французских уличных воспитателей, действующих несколько лет в Польше, фонда им. Батория. Все эти люди, 30-35 человек, на протяжении прошлого года встречались раз в две недели. Группа разделена на что-то вроде секций: одни собирают средства, другие организуют практическую работу. В G5 участвуют и такие люди, которые еще до присоединения к проекту вели аналогичную деятельность. Я имею в виду прежде всего объединение “Пеписко” из Вышкова под Варшавой, созданное, кстати, нашим выпускником Даниэлем Бубелем, а также культурно-экологическое объединение “Лось”. Вот пока и все участники проекта.

Для нашего существования нужны спонсоры. Легче всего доставать средства на акции против наркомании. Но наркомания — лишь фрагмент куда более широкой проблемы. В нашем понимании эта более широкая проблема — расшатанное чувство нормальности, проявляющееся в агрессивном или прямо-таки преступном поведении.

“Дай пять” — это прежде всего практический проект организации свободного времени детей и молодежи. Исследовательская часть, с нашей точки зрения, — дополнение, необходимое, чтобы поставить верный диагноз и подготовиться к практическим действиям.

Понятия нормальности в словаре общественных наук нет. Есть другие понятия: конформизм, норма, приспособленность. Наше стремление — включить “нормальность” в словарь общественных наук, так как это понятие довольно хорошо организует т.н. повседневную жизнь.

Профилактических программ в Польше действительно немало. Но большинство из них не трогает молодежь: как будто люди говорят на разных языках.



Как будет выглядеть наш проект на практике?

В прошлом году мы подготовили программные предложения, основанные частично на наших собственных силах, а частично на возможностях, создаваемых нашими контактами, и придумали систему стажировок, которые будем предлагать школам в городах, охваченных проектом.

Во-первых, конкретные занятия, группы по интересам. Речь идет не только о заполнении свободного времени: выбранные нами города в значительной степени представляют собой культурную пустыню. Мы не изобретаем пороха. Новых идей у нас не так много, зато мы нашли новые методы их осуществления. Профилактика расовых, этнических, половых предрассудков, методы решения конфликтов, экологические акции, учреждение рыцарских братств. Каждый может присоединиться.

Недавно я закончила обследование по заказу фонда Института общественных дел, из которого ясно вытекает, что в неполных сред-

них школах продолжают бить детей, что учителя не воспринимают опасности сигарет и алкоголя, считая их невинными нарушениями, что школьники сидят на уроках выпивши, а педагоги к этому уже привыкли. Учителя не уважают достоинства школьников, обращаются к ним невежливо и даже грубо. Но они понимают свою беспомощность, и это то поле, которое мы хотим обрабатывать. Мы будем “возить дрова в лес”, т.е. объяснять учителям, какова молодежь в свете наших знаний, наших исследований, которые должны служить именно этому. В конце концов недаром мы находимся в Институте прикладных общественных наук.

Записала Агнешка Лидак

Театр
„Станция
Шамотин”.
„Улица живых
и мертвых”.
1999 г.





Витольд Бересь

«ТЫГОДНИК ПОВШЕХНЫ»

TYGODNIK POWSZECHNY

Католический культурно-общественный еженедельник, издающийся в Кракове с марта 1945 г.

Еще шла война, когда в Кракове возникла идея создания газеты, которая позволила бы интеллигенции найти опору в грядущей новой действительности – а в том, что приход Советской Армии полностью изменит ситуацию в стране, не сомневался никто. Инициативу эту возглавил архиепископ князь Адам Сапега – фактический руководитель католической церкви в Польше во время гитлеровской оккупации. Это он, будучи вынужденным принять у себя на обеде Ганса Франка, наместника Третьего Рейха в созданном гитлеровцами на части польской территории Генеральном Губернаторстве, предложил гостю суп из крапивы, сказав, что именно этим питаются сейчас поляки. Благодаря его упорству весной 1945 года и возник новый еженедельник, хотя в городе уже хозяйничали коммунистические власти, а война еще продолжалась.

Несмотря на то, что первым главным редактором стал священник (Я.Пивоварчик), с самого начала было ясно, что подлинным создателем еженедельника является Ежи Турович – в то время молодой человек тридцати с небольшим лет, который свою журналистскую репутацию начал приобретать незадолго до войны. Именно благодаря ему «Тыгодник» скоро превратился в периодическое издание, сформировавшее целые поколения польской интеллигенции. Но прежде всего, хотя еженедельник и подчеркивал свой католицизм, он стал местом встреч всех честных и порядочных людей, независимо от их вероисповедания. Кульминацией этого периода стали 80-е годы, когда после окончания военного положения здесь публиковались как левые, так и правые

оппозиционеры, бывшие марксисты и закоренелые антикоммунисты.

Эта открытая формула с самого начала привлекала самых выдающихся авторов. На страницах «Тыгодника» дебютировал Кароль Войтыла (ныне Иоанн Павел II), который стал не только видным автором, но и большим другом еженедельника (каковым он, впрочем, остается и по сей день). Здесь могли встретиться такие страстные польские патриоты, как известный историк Павел Ясеница, прозаик Ян Юзеф Щепанский, знаменитый фантаст и пророк новой цивилизации Станислав Лем или поэт Збигнев Херберт. Здесь, вначале под псевдонимом (ввиду запрета, наложенного на его имя коммунистической цензурой), публиковался живущий в эмиграции выдающийся писатель и лауреат Нобелевской премии Чеслав Милош. Наконец, в последние годы крупнейшим писателем, философом и моралистом, печатавшимся в «Тыгоднике» стал отец профессор Юзеф Тишнер (недавно скончавшийся после продолжительной болезни), который сочетал в себе огромную эрудицию и уникальный юмор гуралей (жителей польских Татр). Это он объяснил другому большому другу «Тыгодника повшехного», философу Лешеку Колаковскому, как польские гуралы, которые всегда были для Тишнера воплощением добропорядочности и здравого смысла, классифицируют различные виды правды: «чистая правда», «тоже правда» и «чёрта с два правда».

Однако, хотя культура в «Тыгоднике» всегда была сферой, наиболее стойко сопротивлявшейся различным тоталитарным подходам, как слева, так и справа, на первом месте все же оставалась идейная направленность. Размышления о политике велись здесь в нескольких плоскостях, но они отнюдь не были абстрактными, и каждому ежедневно приходилось отвечать на вопрос, где лежит граница, перейти которую уже нельзя.



С самого начала редколлегия открыто заявила, что нужно действовать – сохраняя круг своих ценностей – в границах, обозначенных коммунистическим государством, ибо другого полякам просто не дано. Но при этом ей все-таки удавалось оказывать властям сопротивление – наиболее ярким примером может послужить отказ опубликовать верноподданническую статью после смерти Сталина. Если учесть, что в те времена и за менее тяжкие прегрешения можно было попасть за решетку, то никто не удивится, узнав, что все члены редколлегии были немедленно уволены и таким образом лишены средств к существованию.

Но даже заявления, звучащие сегодня туманно, на самом деле скрывали в себе двойное дно. *“Прошедшее двадцатилетие, – писал Ежи Турович в июле 1964 г., – принесло с собой огромные достижения в экономической, социальной и культурной областях. И мы – власти и общество – должны вместе (...) приумножить это наследие не только путем усиления мощи государства и роста общественного благосостояния, но также и путем углубления социальной справедливости, расширения демократии и большего внимания к вопросам культуры”*. Эти строки были написаны сразу же после опубликования открытого письма 34 видных представителей интеллигенции в защиту свободы культуры (что стало причиной вспышки дикой ярости со стороны Гомулки и резким сокращением тиража издания). В этом контексте призыв к “расширению демократии” приобретает иное звучание.

Неопозитивистская программа, в рамках которой поставленные цели должны достигаться исключительно легальными методами, требовала участия в политической жизни. Именно по этой причине в период послесталинской “оттепели” “Тыгодник” мог призывать своих читателей голосовать за Гомулку и радоваться его победе, но год спустя писать: *“Мы видим, как живые демократические течения сталкиваются с жестким сопротивлением консервативных элементов, защищающих прежний порядок”*. Именно поэтому сотрудники “Тыгодника повсехного” в какой-то момент могли стать депутатами Сейма (Стефан Киселевский и

Станислав Стомма), но поэтому же Стомма был единственным депутатом, который в 1976 г. воздержался при голосовании над новым текстом Конституции ПНР, включавшим в себя верноподданническую фразу о вечной и нерушимой дружбе между Польшей и СССР. Неудивительно, что когда режим уже прогнил, именно Турович открыл переговоры в рамках знаменитого Круглого Стола, ставшего существенным фактором распада коммунистической системы. Турович всегда высоко ставил интересы государства, но патриотизм его был высшей пробы. Компромисс никогда не означал для него ни осуждения поляков, сражавшихся после войны против новой власти, ни прощения за совершенные коммунизмом преступления.

В политической линии “Тыгодника” явственно прослеживались социалистические идеи. Горячее одобрение решений Второго Ватиканского собора проистекало не только из надежды на то, что Церковь станет более открытой, но и из его призывов к социальной справедливости. Турович писал: *“Борьба с нищетой, помощь бедным людям и народам – это вопрос не милосердия, а справедливости”*. Это постоянное внимание к бедным было для него важно и никогда не имело характера циничной игры или фанатизма.

Сегодняшний “Тыгодник повсехны” – это уже другое издание, ибо многих из его виднейших авторов нет в живых (Ежи Турович скончался в январе 1999 г., а его преемником стал другой необычный священник – Адам Бонецкий, близкий к Иоанну Павлу II, в течение многих лет редактировавший официальный орган Ватикана – газету “Оссерваторе Романо”), да и Польша теперь стала другая, и свободное слово без труда достигает каждого человека. Но в главном “Тыгодник” не изменился: он по-прежнему требует честных правил игры в политике, умеет весьма критически смотреть на польский католицизм, иногда соскальзывающий в направлении фундаментализма, и борется за диалог со всеми честными людьми, независимо от их политических взглядов, национальности или вероисповедания.



ЮЗЕФ ТИШНЕР. ЧЕЛОВЕК, ФИЛОСОФ, СВЯЩЕННИК

В номере 7/8 "Новой Польши" мы опубликовали статью Гжегожа Пшебинды, посвященную памяти отца Юзефа Тишнера. В нынешнем номере Вашему вниманию предлагается подборка высказываний об этом необыкновенном священнике-философе и его избранные мысли в переводе Никиты Кузнецова.

Мы убеждены, что это – мысли человека, заслуживающего звания мудреца. Сборник их был составлен Войцехом Боновичем; мы печатаем лишь малую его часть.

Воспоминания и отзывы о безвременно ушедшем о. Тишнере выбрал для наших читателей Виктор Кулерский.



Юзеф Тишнер ИЗБРАННЫЕ МЫСЛИ

• Религия – для умных. Ну, а если кто-то дурак и хочет быть дураком, то он не должен использовать для этого религию, не должен прикрывать религией собственную глупость.

• В исповедальне я не говорю: "Дважды два четыре, и это правда". В исповедальне я говорю: "Слушай, есть Кто-то, на Кого ты можешь положиться, и в этом – твоя правда". Что бы произошло, если бы Христос оказался не прав? Что лучше: проиграть со Христом или выиграть с Великим Инквизитором? Исповедальня служит для того, чтобы убедить человека: нужно быть со Христом, даже если это будет означать поражение.

• Очень трудно будет Господу Богу спасти человека, который не свободен и не разумен. Такой человек все еще не стал самим собой. Так что же тут спасать – кожу и кости?

ОН ЗАХОДИЛ СЛИШКОМ ДАЛЕКО

Подборка высказываний
об о. Юзефе Тишнере

"Благодаря своей твердой христианской вере он был свободен: свободен при встречах с людьми, с их жизненными ситуациями и проблемами; свободен в диалоге с наукой, искусством и разного рода философией; свободен перед лицом дискуссий внутри Церкви и с Церковью [...] Тишнер видел возникающую здесь драму свободы и пытался влиять на ход событий типичным для



него диалогическим образом. К сожалению, его слова не нашли своевременного отклика; не удалось избежать драматических потерь в подходе Церкви к государству и обществу” – Эрнест Вольфганг Бёкенфёрде (“Тыгодник повшехны”, 16 июля 2000).

“Ближе всего Тишнер был к Иеремии [...] Он с необыкновенной ясностью видел все опасности, которые сам себе плодил этот Народ, захлебнувшийся чувством собственного избранничества. Чувство это должно было стать достаточной гарантией всяческого благополучия – невзирая на прогрессирующую нравственную деградацию” – свящ. Гжегож Рысь (“Тыгодник повшехны”, 9 июля 2000).

“Когда настала свобода и среди различных предложений обустройства польской демократии появились предложения, диаметрально отличавшиеся от тишнеровских [...], вокруг Тишнера образовалась пустота [...] На протяжении трех последних лет, в то самое время, как о. Тишнер превозмогал страдания и смерть, на страницах многих газет он подвергался агрессивным нападкам. Сегодня такое отношение к умирающему человеку должно быть укором совести для всякого рода суперпатриотов, реализующих

● Утверждая христианство исключительно как этику, а этику – исключительно как определенную технику жизни, мы де-факто порываем с христианством. Мы упускаем из виду, что оно – религия, забываем, что его цель – спасение. Правда, мы утверждаем идеал, но отвергаем благодать. Нам грозит представление христианства без благодати.

● Благодать – это обаяние, грация. Человек действует под ее влиянием потому, что его влечет обаяние добра, а не потому, что его побуждает к действию какая-то непреодолимая сила. Когда через дорогу идет обаяние в виде красивой девушки, – это как раз и есть метафора благодати. Неизвестно, откуда она взялась, куда идет, и все же она меняет смысл окружающего ее мира.

● Кто кричал: “Распни Его”? В подавляющем большинстве кричали люди религиозные – не какие-нибудь там скептики, атеисты или релятивисты, но люди религиозные, даже очень религиозные. Тот, Кто хотел обновить религию, Сам стал жертвой религии. Разве сам Крест не явил нам величие религии и, в то же время, нищету “религиозности”?

● Притча о милосердном самарянине показывает, что в христианстве фундамент, а что – фундаментализм.

● До сих пор история Церкви была трудными поисками собственной тождественности в споре с другими – с иудаизмом, с язычеством, с отступниками от истинной веры и т.д. Сегодня мы стоим перед лицом таких времен, когда поиски и утверждение тождественности будут совершаться через открытие сходства.

● Я глубоко убежден, что сегодня, как почти никогда, отечество наше нуждается в религии, которая преобразила бы Польшу. Но что Польша делает с религией? Очень часто она превращает ее в орудие ненависти к ближнему своему.

● В Польше христианству грозит не секуляризация и не атеизм (во всяком случае, пока), но пародия религии.

● Нет часа более опасного для веры чем тот, когда верующему кажется, что для того, чтобы верить, нужно пожертвовать здравым рассудком.

● “Церковь болезненного воображения” не любит разума. Разум для нее – источник постоянной угрозы. Разум – это цинизм, скептицизм, релятивизм. Но не



любит она и чувств. Чувства – это субъективизм, гедонизм, разнузданность. Мир должен быть таким, чтобы “все в нем препятствовало спасению”.

• [Для польского католицизма характерна] позиция, не принимающая взглядов другого человека чересчур всерьез. (...) В этом проявляется специфическое видение религиозности и святости, которое подчеркивает героизм жертвы без героизма мышления. Может, бывает даже и героизм мышления, но без самокритичности.

• “Заражение коммунизмом” католической ментальности заключается в том, что зачастую она тоже не может представить себя вне властных структур. Она ожидает, что избранничество и искупление будут иметь своей целью не только вечное спасение, но и водворение избранных и искупленных на какой-нибудь ступени власти, лучше всего – в Сейме или правительстве.

• Ни католик, ни поляк, ни кто-либо другой не могут иметь в государстве больших прав, чем человек.

• В моей философско-священнической жизни я не встретил никого, кто утратил бы веру, прочтя Маркса, Ленина или Ницше, зато тех, кто утратил ее после встречи с собственным настоятелем, можно считать дюжинами.

• Для многих пастырей мышление при отсутствии врага – выше их сил. Способность выслеживать врага они развили в себе до пределов совершенства. Их речь становится речью непрестанных “доносов” – “доносов” самим Небесам на мир, сотворенный Господом Небес.

• Существует два типа пастырского мужества: есть мужество, которое осмеливается показать человеку его грех, и есть мужество, которое осмеливается показать грешнику величие любви Божией. Чаще всего мы сталкиваемся в церквях с первым типом.

• Маркс ошибался, когда писал, что “опиум религии” изобрели классы угнетателей, чтобы оправдать эксплуатацию. На самом деле опиум из религии сделали сами проигравшие – прежде всего те, что проиграли по собственной вине и теперь мечтают о мести. Религия становится “отдушиной” их разгоряченного воображения.

• Тот, кто хоть мало-мальски знаком с историей Церкви и ее внутренних реформ, легко заметит, что наша

свои идеологические установки любой ценой, так что ради них они готовы уничтожить человека, невзирая на элементарные принципы гуманизма” – архиепископ Юзеф Житинский (“Газета wyborча”, 29 июня 2000).

“У него было собственное видение государства – он хотел, чтобы его было как можно меньше, но чтобы там, где это необходимо, оно пользовалось высшим авторитетом” – Владислав Стружеский (“Тыгодник повшехны”, 9 июля 2000).

“Его критиковали за чрезмерное увлечение политикой, обвиняли в слишком либеральных взглядах, в апологии свободы и попытках примирения воды с огнем, т.е. Церкви с современной демократией” – Ежи Садецкий (“Жечпосполита”, 29 июня 2000).

“В 90-е годы Тишнера критиковали за высказывание: “Сперва я человек, затем философ и только в-третьих – священник” [...] Как-то после проповеди один из коллег-священников съезвил: “Хорошо, Юзек, что ты хотя бы в конце сказал: “Аминь” – иначе там вообще не было бы ничего католического”. На самом деле это были очень глубокие религиозные проповеди, произносимые простым, образным языком” – Войцех Бонович (“Тыгодник повшехны”, 9 июля 2000).



“Определенно, он был священником послесоборной Церкви. Его мысли и действия были открыты XXI веку, и потому его не признавали люди, привязанные к стилю века XIX” – *Кшиштоф Занусси* (“*Жечпосполита*”, 29 июня 2000).

“Отец Тишнер имел многочисленных слушателей, однако доводилось ему встречаться и с людьми малодушными, которые относились к нему почти как к вероотступнику” – *епископ Тадеуш Перонек* (“*Жечпосполита*”, 29 июня 2000).

“Политические силы, разумеющие католицизм прежде всего в национальных категориях, считали его леваком да, вдобавок, еще и не очень-то польским; некоторые видели в нем человека, который своей деятельностью способствует секуляризации и усилению западных влияний; другие утверждали, что его теология ничего не стоит. Тишнер принимал эти обвинения с улыбкой, но я думаю, что на самом деле они его огорчали” – *Эрхард Бусек* (“*Тыгодник повшехны*”, 9 июля 2000).

“Своими взглядами он помогал осознать глубокое внутреннее разделение, обозначившееся в польской Церкви [...] “Трагедия заключается в том, что до сих пор никто не зашел в признании демократии так далеко, как Иоанн Павел II;

сегодняшняя самокритика на фоне тогдашней выглядит как робкое жужжание мух.

- Человек, сидящий в укрытии, верит, что как только он покажет людям, каков он из себя, как только он обнажит свою “изнанку”, люди бросятся на него и осмеют. Его трагедия заключается именно в этом неверии в людей. Значит, все дело в том, чтобы человек преодолел свое неверие. Ибо правда, сказанная о самом себе, – всегда нечто великое, независимо от того, о чем она: о человеческой добродетели или о вине. Тот, кто признаётся, оказывается под покровительством правды. Правда защищает лучше всякого укрытия. Только перед лицом лжеца появляется желание убить. Желание любить появляется только перед лицом человека правды.

- Тезис, обуславливающий любой диалог: то, что другой говорит обо мне, никогда не может быть стопроцентной неправдой.

- Случается, что слово “диалог” исходит из уст тоталитарных властей, но тогда власти эти не ведают, что говорят.

- Всюду, где взгляд в глубину человека порождает отчаяние и только отчаяние, ему будет сопутствовать жажда “твердой руки”. Если человек не в состоянии спасти самого себя, пусть его спасет власть. И наоборот: всякий раз, как власть не сможет найти достаточного резона для своего существования, она будет пенять на неизлечимое зло человека.

- Демократия не знает невинных преступников. И это уже решительный прогресс.

- Я не оцениваю последствий секуляризации негативно. Эта, нехристианская с виду, цивилизация в сущности подспудно сохранила христианский характер. Христианская модель человеческой личности и вытекающая из нее идея прав человека начинают править жизнью всей планеты.

- К сожалению, никогда нельзя исключить возможности демократического конца демократии. Ибо разница между демократией и тоталитаризмом такова: тоталитаризм навязывает себя человеку даже тогда, когда тот его вовсе не желает, демократию же он может иметь только тогда, когда действительно хочет ее иметь.



• Тот, кто ищет в поэзии философию, напоминает рыбака, ловящего рыбу в лесу. Поэзию нужно понимать через поэзию, а не через схемы, которые ей чужды.

• Думаю, что в погоне людей за моральным авторитетом кроется некая опасность. Ведь если ты ищешь такой авторитет, попросту будь им сам, и все тут.

• Зло не свободно. Оно зависимо от ненависти к добру.

• Свобода не проникает в человека после прочтения книг. Свобода приходит после встречи с другим свободным человеком. Если раб встретит свободного, он либо возненавидит его за эту свободу, либо станет свободным сам.

• Величайшая “сила” добра состоит в том, что оно отрекается от насилия. Это – сила единственного в своем роде волшебства, или, может быть, заклания, заключенного в признании: “Я свободен”.

• Человек не хочет быть принуждаемым злом ко злу, но он, вероятно, согласился бы на то, чтобы добро принуждало его к добру. Что же делать, если природа добра такова, что оно отказывается использовать принуждение?

• Никто не может быть полностью свободным, когда другие вокруг него (а прежде всего те, кого он возлюбил) – рабы. Настоящее ограничение человеческой свободы – это не свобода другого, как утверждают некоторые, но его рабство.

• Совесть не препирается с человеком; на все его “объяснения” и “оправдания”, на каждое: “я не мог”, “я был вынужден”, “я не заметил” – совесть отвечает великим пронзительным молчанием, из которого вырастает человеческая вина.

• Тот, кто презирает свободу другого, презирает также и собственную свободу и начинает служить силам, которые выше, а иногда и хуже, чем он сам.

• Неправда, будто бы либеральная свобода “разрешала все”. Принципу свободы противоречат действия, направленные против свободы, которые заключаются не только в обращении к насилию, но и в манипуляции понятием свободы.

• Ни один разумный человек не станет отрицать того, что свобода может вести к анархии. Однако необходимо

с другой стороны, никто, ни одна поместная Церковь, не далека от признания демократии так, как Церковь в Польше”, – замечал о. Тишнер [...] Противники относились к нему с неприязнью, предпочитая обвинения предметной полемике [...] “Есть какой-то парадокс в том, что я не встречаюсь с критикой, – говорил отец профессор, – есть неприятие, а критики нет [...] Нет полемики ни с одной из моих статей” – *Веслав Кот* (“*Впрост*”, 9 июля 2000).

“Он не хотел быть церковным иерархом. Он боялся, что должность лишит его части свободы поиска и права скитаться по всякого рода [духовному и интеллектуальному] бездорожью” – *Яцек Жаковский* (“*Газета wyborча*”, 29 июня 2000).

“Он не придавал большого значения [...] человеческим наградам, благодарностям, восторгам [...] Проект [присвоения ему степени профессора] было невозможно реализовать [...] Он принял предложение со скептической улыбкой и, махнув рукой, объяснил: “[...] Меня вовсе не интересует коллекционирование титулов. Можно всю жизнь играть роль рабов, ожидая почестей и ставя свою судьбу в зависимость от случайных оценок” [...] Он не принял избрания [ректором Папской Теологической



Академии], обезоруживающе поясняя, что предпочитает мышление, а не администрирование [...] Он страдал, когда его обвиняли в том, что он перенес на польскую почву понятие *homo soveticus*. Критики со всей резкостью утверждали, что оно оскорбляет польский народ, который так мужественно защищался от советизации, что сточная канава идеологической чистки мозгов нисколько его не запятнала” – *архиепископ Юзеф Житинский (“Жечпополита”, 1-2 июля 2000)*.

“Громким эхом отозвались его слова о *homo soveticus*, который после 1989 г. стал представлять для Польши реальную угрозу. [О. Тишнер] многократно уточнял, что назвал так человека, бегущего от свободы и считающего своим врагом каждого, кто по-настоящему свободен. А свобода – это не только радость и внутреннее состояние: это и бремя, и брошенный нам вызов, на который мы должны дать ответ” – *Кшиштоф Мусял (“Жечпополита”, 9 июля 2000)*.

“Он смело клеймил фундаментализм польских католиков [...] доказывая, что те католики, которые сами себя считают наиболее ортодоксальными, в действительности уподобляются

правильно понимать слово “вести”. Свобода “ведет” к анархии в том смысле, что она является необходимым условием ее возникновения. И все же она не является ее достаточной причиной.

• Нельзя недооценивать скуку. Внимание, противники свободы! Может статься, что люди выберут полное развлечений рабство, оставляя наскучившую свободу.

• Страх перед свободой действует в недрах польского католицизма как паразит, разрушающий его духовную основу. Он ведет к тому, что Благая Весть, которая испокон веков была вестью об освобождении, представляется, показывается и предписывается как весть о порабощении, т.е. плохая весть. При этом говорится: “Любите Евангелие, ибо оно мастерски порабощает”. Таким образом наносится удар вере.

• Доброта всегда рождается в муках. Кто страшится боли, тот, рано или поздно, пойдет на компромисс со злом.

• Сармат любит блеснуть перед окружающими, причем блеснуть даже своими жизненными ошибками. Отсюда вытекает его своеобразная “идеология зла”. Я понимаю: каждый человек совершает какие-то ошибки. Но мы умеем преподносить собственные ошибки как повод для гордости.

• Одна из самых мучительных форм предательства – обречение трудящегося на труд, не имеющий смысла.

• “Определение” принципа солидарности дает св. Павел: “Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов”. Та минута, когда мы забудем об этом, станет минутой нашего самоубийства.

• Любопытно, что когда речь заходит об опыте зла в коммунизме, Запад перестает нас понимать. Стоит только появиться слову “зло”, как нить взаимопонимания рвется.

• Борясь с христианством, коммунизм в то же время пародирует его. В глубине коммунизма живет какая-то непреодолимая зависть по отношению к религии. Чего, собственно, хочет коммунизм? Он хочет обладать, обладать человеком абсолютно, безусловно и безраздельно, так, как, по его представлению, обладает им Сам Бог.



• Коммунизм был мирской разновидностью теории предопределения или, если посмотреть еще глубже, – современной разновидностью веры в фатум. Поразительно, что вера эта приобрела в наше время столь огромную популярность. Популярность эту нельзя объяснить иначе, как усматривая в ней новейшую версию “бегства от свободы”.

• Даже худшая из систем не может функционировать без определенного числа честных и компетентных людей. Сама система еще не перечеркивает эту честность, хотя злоупотребляет ею и некоторым образом ее эксплуатирует. Нельзя иметь претензий к врачу за то, что он спасает жизнь больного Сталина. Нельзя обвинять этого врача в сталинских преступлениях.

• Политическую ложь можно узнать по тому, что каждая погрешность против истины оправдывается интересами власти, а косвенным образом – предполагаемыми интересами подданных этой власти. Когда политик лжет, он лжет ради блага народа. Народ должен это понять.

• Если власти заявляют, что должны лгать из страха за судьбу подданных, то подданные также имеют право беспокоиться о самочувствии властей и не должны портить его излишней правдивостью. На одну ложь властей народ может ответить миллионом неправд подобного рода. Ведь в конце концов ложь – это еще не самое худшее. Вне всякого сомнения, оно – меньшее зло по сравнению со вздергиванием на фонаре.

• Чтобы лгать другому, я должен говорить правду себе; иначе ложь была бы невозможна. Чтобы знать, как скрыть правду, нужно все время держать ее в поле зрения.

• *Homo soveticus* никогда не выступает в чистом виде, однако это не значит, что он не существует вовсе. Время от времени его может ощутить в себе каждый из нас...

• *Soveticus* является очередной разновидностью современного рабства; такого рабства, где раб доволен своим рабским положением, т.к. благодаря нему совесть его чиста. Он не виноват. Ему “приказали”, ему “не дали”. Тоска по советскому – это, в конечном итоге, тоска по невинности и по ясному распределению ролей.

• *Homo soveticus* – это порабощенный коммунистической системой клиент коммунизма. Он питался товарами, которые коммунизм ему предлагал.

отнюдь не ортодоксальному церковному течению” – *Яцек Возняковский* (“Газета wyborча”, 29 июня 2000).

“Его знания, самостоятельность и мужество привлекали к нему восторженных сторонников, но в то же время вызывали зависть, сопротивление и даже провоцировали людей на то, чтобы отвращаться от него и обвинять в его деструктивном либерализме, в недостатке верности Церкви. Ему без колебаний грозили даже вмешательством трибунала Святого Престола” – *епископ Тадеуш Перонек* (“Тыгодник повшехны”, 9 июля 2000).

“Хотя Юзека далеко не все понимали и ценили, его понимал и ценил Папа. В то время как некоторым казалось, что Тишнер зашел слишком далеко и над его головой собираются черные тучи Святой Инквизиции, Папа, мастерски пользующийся малыми жестами и знаками для того, чтобы сказать нечто важное, сделал такой жест [...] 8 июня 1997 г. в краковской коллегии св. Анны Папа встретился с ректорами и профессорами краковских высших учебных заведений. Отец Юзеф Тишнер, облаченный в профессорскую тогу, отошел в задние ряды, уступая место мирянам. Медленно идущий через коллегату Папа заметил его (потому что хотел



заметить!), подошел, и люди, стоявшие поблизости (а они сразу же наострили уши), услышали: «Юзек, летал я тут над Турбачем и видел твою бацувку¹» – *свящ. Адам Бонецкий* (“Тыгодник повшехны”, 9 июля 2000).

“Во время учебы [в семинарии] Тишенра поразили слова о. Яна Петрашко, говорившего, что Христа всегда упрекали в том, будто Он заходит слишком далеко. Затем отец Ян сказал: «Когда вы будете священниками, вы испытаете на себе то же самое. Вам всегда будут говорить, что вы заходите слишком далеко. Не бойтесь таких обвинений. Вы для того и существуете, чтобы заходить слишком далеко»” – *Войцех Бонович* (“Тыгодник повшехны”, 25 июня 2000).

Когда коммунизм перестал удовлетворять его надежды и нужды, *homo soveticus* принял участие в бунте.

• Впустить посткоммуниста в мир демократии – все равно что приказать коту присматривать за мышами. Даже если бы все кончилось хорошо, какое это было бы мучение и для той, и для другой стороны!

• Глядя на историю и на всевозможные разновидности скептицизма, можно, казалось бы, прийти к заключению, что нет вопроса более неблагоприятного, чем вопрос об истине. И все же вопрос этот возвращается вновь и вновь. Возвращается в самые неожиданные моменты и в самых неприспособленных для этого местах. Во время полной напряженной забастовки на Гданьской Судовой верфи один из рабочих сказал, что готов работать за миску супа, лишь бы только его, наконец, перестали обманывать. Признание это весит на чаше весов европейской культуры больше, чем все аргументы скептиков, циников и агностиков вместе взятых.

• Недостаточно разрушить овин, чтобы на его месте возник дом.

• Прощение не означает оправдания. Прощая, я вовсе не утверждаю, что зла не было. Напротив, зло было, и именно поэтому я могу простить. Прощение очищает меня, а не человека, причинившего мне зло, – очищает от жажды мести.

• Я всегда считал, что основная задача школы – учить, а не воспитывать, – и спорил об этом со многими учителями. Я придерживался мнения, что человек воспитывается через учение. Если бы мне пришлось выбирать между хорошим учителем и хорошим воспитателем, я выбрал бы учителя.

• Я часто повторял своим коллегам, что если сегодня они выкинут меня из Церкви, то завтра будут приглашать на экуменические богослужения.

• Иногда я смеюсь, что сперва я – человек, затем философ, потом долго-долго ничего, и только затем – священник.

• Мир слишком нравится мне, чтобы я пытался его изменять. Я – как врач, который вместо того, чтобы лечить, пишет о болезни докторскую диссертацию.

¹ Бацувка – пастуший домик польских горцев (Пер.).



Анна Гришина

«МЕМОРИАЛ» НЕ ДАЕТ ЗАБЫТЬ О ПОЛЯКАХ

Польша – «самый веселый барак в нашем лагере», – давно уже воспринималась советской интеллигенцией как пример освободительной борьбы против коммунизма. Даже до смерти Сталина там случались события, привлекавшие к себе внимание и работавшие на будущее. В 1943-1944 гг. в Москве действовал Союз польских патриотов – орган, который должен был стать как бы преддверием будущего (после освобождения Польши от немцев) польского коммунистического правительства, чтобы не дать полякам сформировать свое (демократическое) правительство самим. Однако одной из первых предпринятых этим Союзом мер стало составление списка поляков (главным образом, польских коммунистов, членов распушенной в 1939 и по большей части расстрелянной КПП), находящихся в советских лагерях. В Польше говорят, что Берут сказал Сталину: «С кем вы хотите, чтобы я строил коммунистическую Польшу? Мужчин-коммунистов вы расстреляли, отдайте хоть женщин, находящихся в лагерях». Вряд ли Берут мог так разговаривать со Сталиным, но список лагерных адресов начал составляться. На нас – немногих людей, которые по молодости, легкомыслию, любви и жалости к жертвам отважились выяснять в Москве и приносить в СПП лагерные адреса поляков (главным образом, полек) ощущение, что впервые можно помочь освобождению людей из лагерей производило, конечно, огромное впечатление. У меня сохранились письма женщин, которым я помогла, писавших мне из лагерей, и после освобождения.

В 1945-1946 гг. освобождение началось. Люди, приодетые и со вставленными зубами, ехили в Польшу – «строить социализм», который был бы хоть чуть-чуть своим, отдельным, польским, что после ликвидации Сталиным и Риббентропом в 1939 г. «уродливого детища Версаля» – независимой Польши – было для них немаловажно.

Первая трещина в польском коммунизме – Польский Октябрь 1956 г. – вызвала вторую волну отъездов поляков, жителей Западной Украины и Белоруссии, в Польшу. Вскоре после Октября появились и стали демонстрироваться в Москве польские документальные, а затем и художественные фильмы – Вайда, Хас, Мунк, Полянский. Это произвело на московскую интеллигенцию большое впечатление, и именно тогда за Польшей закрепилось звание «самого веселого барака в нашем лагере», хотя по уровню жизни некоторые страны Восточной Европы были более благополучны, чем она. Потом были польские 1968-й и 1970-й годы, 1980-й – «Солидарность», 1981-й – военное положение. И наша перестройка.

С годами я все отчетливей осознаю, как повезло мне – историку, человеку, судьбой связанному с Польшей, что я оказалась в Варшаве осенью, в сентябре-октябре 1988 года, когда коммунизм кончался на улицах польских городов. Митинги в Университете и на бывшей площади Дзержинского, студенческая демонстрация 7-го октября, арест части ее участников и их освобождение под давлением народа, сообщения об аналогичных событиях во Вроцлаве, Кракове, Гданьске. Я достаточно хорошо знала язык и историю Польши XX века, чтобы сразу ощутить значительность



происходящего. По своим политическим взглядам я давно уже принадлежала к «левым» в нашем и «правым» в польском (и вообще западном) понимании – это несоответствие было объектом постоянных шуток при встрече с польскими друзьями.

Все происходившее в Польше осенью 1988 г. побуждало не только к сочувствию, но и к соучастию. Окончательным толчком к этому оказалось для меня посещение собраний в КИК-е («Клуб католической интеллигенции», на самом деле – вообще клуб варшавской интеллигенции, некоторая аналогия «Московской трибуны»), посвященных советско-польским отношениям («белые пятна») и тому, что происходит в Польше. Особое впечатление произвело на меня заседание на тему «Горячее лето 1988 года», на котором Тадеуш Мазовецкий (будущий премьер Польши) рассказал о гданьской стачке, а Стельмаховский – о предыстории «Круглого стола» (первой официальной встречи коммунистического министра внутренних дел Чеслава Кищака с Лехом Валенсой), в организации которого он принимал непосредственное участие.

Помню острое ощущение на глазах происходящей истории – настолько, что мне захотелось дотронуться до костюма Стельмаховского, чтобы «к этой самой истории прикоснуться». На одном из таких собраний меня представили господину Платеру-Гаевскому, который незадолго до этого вернулся в Варшаву из казахской ссылки. Он рассказал мне о пребывании в Казахстане – своем и тысяч других поляков, – о борьбе за права оставшихся там и о жертвах, жертвах, жертвах. Я, конечно, знала о польских жертвах Сталина, хорошо знала, – в том числе и по истории семьи моей матери, в которой сошлись польские судьбы XX века. Старший брат матери был арестован в 1940 году в Барановичах и отправлен в лагерь в Сибирь, а его жена с двумя девочками сослана в Северный

Казахстан. Младший брат с семьей был убит гитлеровцами в местечке Городея (между Несвижем и Миром). Сестра с мужем и дочерью уехали из Варшавы седьмого сентября. Когда в их машине кончился бензин, шли пешком через Украину. Муж попал в «фильтрационный» лагерь в Путивле, но как штатский инженер был отпущен (повезло!), работал мастером на сахарном заводе в Сумах. Второй раз они бежали от Гитлера в июле 1941-го, оказались в Средней Азии, ушли с армией Андерса и проделали весь ее путь до Лондона, где оказались в конце войны.

Двоюродный брат матери, Зигмунт Авиновицкий стал бойцом Войска польского и вместе с ним дошел до Варшавы. Был награжден орденом *Virtuti Militari* высшей степени (самый высокий в Польше орден за воинскую доблесть – ред.). К сожалению, он уже скончался. Замечательный некролог о нем был помещен в «Газете выборчей».

Все эти судьбы, как и судьбы многих их друзей и родственников, были мне известны, и потому вопрос о том, кто виноват в трагедии Катыни, перестал быть для меня вопросом задолго до 1990 года.

Чего я не знала и что приоткрыл для меня Платер-Гаевский – это масштабы польских жертв советского тоталитаризма. «Приоткрыл» – ибо то, что счет надо вести не на тысячи, а на стони тысяч, открылось мне, когда я стала заниматься этим сама. Именно там, в Варшаве, в КИК-е, мне пришлось в голову, что этим надо заниматься не только в Польше, что уже и так делают многие, но и в Советском Союзе, и что этим должна заниматься я. Во-первых, как историк, во-вторых, как человек, в течение всей жизни связанный с Польшей, и в-третьих – потому, что я не боюсь. Карьеры я при нашем режиме не делала, терять мне в этом смысле было нечего, а кроме того я могла позволить себе оставить библиографию, которой занималась в течение 30 лет и которую ценила за то, что в ней для



служащих советских гуманитариев было меньше необходимости врать и следовать господствующей идеологии.

Через пять дней после моего приезда из Варшавы, 29-го октября, в Москве состоялась самая первая конференция общества «Мемориал», которая планировалась как Учредительная, но официально была названа Предварительной. На этой конференции я впервые заговорила о польском направлении работы нашего общества. Тогда же, осенью 1988-го, эта работа и началась. Уже в это время в общество «Мемориал» стали поступать опросные листы о жертвах советского террора – среди них встречались и сведения о поляках и людях других национальностей, чьи судьбы были связаны с Польшей. Иногда к опросным листам, отправляемым в «Мемориал», люди прикладывали документы, фотографии. То, что относилось к Польше, мы отбирали и изучали. После того, как в Польше стало известно о существовании нашей группы, нам стали присылать оттуда опросные листы, списки жертв и запросы, запросы, запросы. Количество запросов о судьбах родственников, друзей, знакомых, «пропавших без вести» в Союзе, особенно увеличилось после того, как в 1990 г. я снова поехала в Варшаву, где выступила в КИК-е, а также по радио и телевидению с докладом о начавшейся польской работе «Мемориала».

Именно тогда пришла ко мне госпожа Ванда Тумидайская – дочь командующего Люблинским подразделением Армии Крайовой генерала Казимежа Тумидайского (Грабовского), которая уже 40 лет не могла найти никаких сведений о судьбе своего отца, арестованного в августе 1944 г. Последние сведения о нем были из Рязани. Я знала, что в 1990 г. в Рязани уже работало местное отделение «Мемориала». Приехав в Москву, я передала просьбу Ванды Тумидайской и все (очень немногие тогда) полученные от нее сведения председателю Рязанского

«Мемориала» Андрею Блинусову, который, проделав большую и довольно рискованную по тем временам работу, нашел в архивах материалы о Дягилевском лагере военнопленных и интернированных, а также о лагерной жизни и смерти генерала Тумидайского и других поляков. Наконец, мне удалось найти могилу Тумидайского. Это стало началом польской работы Рязанского «Мемориала» и, можно сказать, началом рязанской «Карты».

Кроме постоянных работ по восстановлению судеб репрессированных поляков, работ, которые были тогда очень трудны из-за того, что архивы КГБ и МВД все еще были для нас наглухо закрыты, основными приоритетами польской комиссии «Мемориала» стали две выставки, привлекая к себе внимание Москвы. 23 августа 1989 года, в день пятидесятилетия пакта Молотов-Риббентроп в клубе им. Русакова на Стромынке открылась выставка, посвященная этому событию. Открылась вопреки скрытому, а иногда и откровенному, сопротивлению партийных властей района. И продержалась две недели в клубе Русакова, а потом еще неделю в Исторической библиотеке. Выставка, привлекая множество посетителей, сопровождалась лекциями и демонстрацией немецких хроникальных фильмов о совместных действиях советских и немецких войск в Польше осенью 1939 года, в том числе и об известном совместном параде в Бресте. Конечно, это, да и все экспонаты выставки (на которой впервые были представлены фотографии Катыни, а само слово «Катынь» впервые открыто прозвучало в СССР) вызвали большой интерес. Состоялась и научная конференция о сути и значении пакта Молотов-Риббентроп. Выставка была плодом деятельности многих людей и подразделений «Мемориала». Но не только его. Главным организатором был Московский «Мемориал», свои документы и фотографии привезли



прибалты и молдоване, были документы и люди из Финляндии.

Следующим мероприятием, организованным «Мемориалом» в связи с польской темой, стала выставка «50-летие Катюни», прошедшая в Киноцентре. В ноябре 1989 года было еще далеко до ответа на вопрос, признает ли советское правительство вину НКВД за Катюнь. (Летом 1988 г. Горбачев ездил в Польшу. «Вся Польша ждала от него одного слова «Катюнь». Но он его не произнес» – рассказывали нам поляки). Именно тогда, в ноябре 1989 года, рабочая коллегия «Мемориала» приняла решение, что мы это событие отметим вне зависимости от позиции правительства. И, надо сказать, что отметили мы его очень широко. Выставка была уже подготовлена, когда Горбачев признал советскую вину за злодеяния в Катюни и послал Ярузельскому списки расстрелянных польских офицеров. К этому времени на нашу совместную конференцию, которая проходила в московском Киноцентре, уже были приглашены польские историки.

Потом мы повезли польских коллег в Смоленск для посещения Катюни. На вокзале в Смоленске, куда поезд пришел в 6 часов утра, нас встречали молодые смоляне, державшие плакаты с надписями: «Поляки, простите нас за Катюнь!», «Поляки, простите за коммунизм!» Нас повезли в гостиницу, а встречавшие пошли с плакатами через весь город и дальше пешком до Катюни, где мы с ними и соединились. В городе им пыталась помешать милиция, но все обошлось. На месте трагедии нас ждал ксендз Здислав Пешковский – бывший узник Козельского лагеря. Он отслужил католический молебен, а священник смоленского храма – православный (в Катюни, как известно, расстреливались и советские граждане).

На обратном пути нас пригласили в Смоленский педагогический институт, где студенты и преподаватели попросили нас хотя

бы вкратце повторить содержание докладов московской конференции о Катюни. Было задано множество вопросов, встреча прошла интересно и очень эмоционально.

Параллельно с московскими мемориальцами польской тематикой, т.е. репрессиями граждан Польши и поляков-граждан СССР, занимались и в других отделениях «Мемориала». Больше других отличились здесь В.С.Биргер (Красноярск), К.Р.Кызласова (Абакан), В.А.Ханевич (Томск), И.В.Федушак (Львов), М.Б.Рогачев и М.А.Морозов (Сыктывкар), В.П.Патолицын (Ухта), С.В.Глушков и Ю.А.Шарков (Тверь), Р.Л.Яковец (Слюдянка Иркутской обл.), Ю.Б.Воронова (Самара). Их работа была особенно важна в 1990-92 годах: большинство мемориальцев на местах получили доступ в архивы местных управлений МВД и КГБ раньше, чем перед нами открылись двери центральных архивов. Поэтому именно они до конца 1991 – начала 1992 года добывали большую часть ответов на запросы о судьбах поляков, а также документов об их вынужденном пребывании в СССР или гибели. Вначале вся эта информация поступала в Польскую комиссию в Москву, а мы переправляли ее в Польшу. С 1992 года, особенно после конференции в Варшаве, о которой будет сказано ниже, установились непосредственные связи «Мемориалов» на местах с Польшей. Впрочем, самые ценные и уникальные документы некоторые коллеги, особенно из дальних регионов, предпочитают и сейчас отправлять через Москву. А некоторые присылают для архива Польской комиссии дубликаты документов, отправляемых в Польшу.

Деятельность мемориальцев в городах не ограничивалась добыванием документов и ответами на запросы. Некоторые из них занимались и исследовательской работой. В.С.Биргер разыскивал репрессированные польские семьи, жившие в Красноярске и



Красноярском крае, восстанавливал их историю, брал у них интервью, записывал воспоминания и рассказы и, вместе с фотографиями, посылал в Варшаву для пополнения Восточного архива, а также в Москву, в «Мемориал». К.Р.Кызласовой удалось раздобыть репатриационные списки репрессированных поляков из Хакассии, отправленных в Польшу в 1946 г. (составлялись с целью неучастия этих людей в выборах). В.А.Ханевич подробно изучил историю своей родной деревни Белосток в Томской области, деревни польских переселенцев времен сталинской реформы, мужское население которой было почти поголовно истреблено в 1937-38 гг. По рассказам очевидцев и найденным в архивах документам он написал и издал книгу «Белостокская трагедия». М.Б.Рогачев, изучив архивы ЗАГСов, написал большую работу о смертности поляков в Коми. Ю.Б.Воронова восстановила историю и трагический конец польского клуба в Самаре. Мемориальцы из Твери (М.М.Фрейденберг, С.В.Глушков, Ю.А.Шарков и др.) первыми пролили свет на историю расстрела польских офицеров из лагеря в Осташкове и нашли их место захоронения в Медном. Что же касается обнаружения под Харьковом места захоронения офицеров из Старобельского лагеря, то здесь заслуга принадлежит харьковским мемориальцам. Впервые известие об этой находке прозвучало на нашей конференции «50-летие Катыни» в апреле 1990 года.

В это же время, до открытия центральных архивов, очень помогал нашей работе контакт с польским консульством в Москве, особенно с генеральным консулом Польши Михаилом Журавским, чрезвычайно доброжелательно и заинтересованно относившимся к польской работе «Мемориала». Мы все время обменивались информацией о репрессированных, которую нам удавалось добыть, прорываясь сквозь архивные препоны (а

информация эта была необходима для улучшения условий жизни оставшихся в живых или для сообщения родственникам сведений об их близких, часто о времени и месте их смерти).

Постепенно наша деятельность становилась в Польше все более известной. Это проявлялось в посещениях корреспондентов польских газет, в появлении в польских газетах и журналах заметок и статей о «Мемориале» вообще и о его польской работе в частности.

Весной 1989 г. одним из первых пришел в мой дом московский корреспондент «Газеты выборчей» Леон Буйко. А 4 июня 1989 г., в день выборов и победы Мазовецкого он позвонил мне из Варшавы, крича в телефон: «Анна, мы победили, мы победили везде! Даже большинство сотрудников польского посольства в Монголии проголосовали за Мазовецкого!»

Осенью 1991 г. ко мне впервые пришел Петр Мицнер, один из редакторов варшавского журнала «Карта». Журнал этот начал подпольно издаваться во время военного положения, после его ослабления стал легальным и постепенно приобрел свое уникальное лицо – стал независимым историческим журналом, посвященным «восточным, т.е. советско-коммунистическим репрессиям граждан Польши и поляков-граждан СССР». Журнал «Карта» теснейшим образом связан с Восточным архивом, в котором собираются сведения о репрессированных к востоку от Польши.

При такой близости деятельности этих институтов к работе «Мемориала» наше сотрудничество стало вполне естественным. После того, как Петр Мицнер более подробно ознакомился с тем, что сделано и делается Польской комиссией, он предложил провести в Варшаве совместную научно-практическую конференцию. Конференция эта, названная «Неделя совести», состоялась в апреле 1992 года. На нее польские коллеги



пригласили 50(!) мемориальцев. Конференция прошла очень успешно, имела большой резонанс: о ней писало множество газет, некоторые передавали сообщения о ее работе ежедневно, было много теле- и радиопередач, снимались документальные фильмы. Во время работы конференции были открыты наши выставки: «Искусство ГУЛАГ-а» и выставка тюремных фотографий репрессированных, главным образом – расстрелянных поляков. На этой второй выставке люди находили своих мужей, отцов, друзей, узнавали об их судьбе и видели их последние изображения. Конечно, все это встречалось очень эмоционально, но, как ни странно, с благодарностью. За то, что рассказали, за то, что привезли. Вообще это восприятие тогда поражало – во всяком случае некоторых из нас. Мы были представителями страны, причинившей Польше столько горя и страданий. А к нам относились со вниманием, заботой и благодарностью. Ко мне подходили люди на улицах, чтобы сказать спасибо за нашу деятельность. О нас судили не по нашей национальности и государственной принадлежности, а по нашим делам.

Кроме докладов и выступлений, дискуссий, показа польских и российских фильмов о лагерях, тюрьмах, местах спецпоселений, очень интересными и полезными оказались дежурства мемориальцев, рассказывавших полякам о местах репрессий и принимавших запросы о нахождении и предоставлении документов, которые помогли бы составить заявления в российские, украинские, казахские, белорусские, узбекские учреждения. Эти дежурства были ежедневными, на них возникало непосредственное общение с варшавянами и со многими другими, приехавшими на конференцию из разных городов. Повидимому для поляков все это было неожиданно. Об этом свидетельствовало их общее впечатление о конференции, выразившееся непосредственно нам, а

также по ТВ, радио и в газетах. Лучшее всего отражали его слова: «К нам приехала другая Россия, иная, чем та, которую мы знали раньше».

В результате конференции «Мемориал» с одной стороны и Восточный архив и «Карта» с другой, подписали Протокол о намерениях развивать сотрудничество в области исследования польских репрессий. Уже в июне 1992 г. Совет НИПЦ «Мемориала» утвердил программу исследований «Репрессии против граждан Польши и поляков-граждан СССР в Советском Союзе (1920-1988)». Через год эта программа трансформировалась и стала частью международной программы «Общая судьба – Восточная Европа». Главным и очень активным ее деятелем с российской стороны стал А.Э.Гурьянов.

Итоги этих исследований были изложены в докладах на семинаре в Москве, а затем на третьей совместной русско-польской конференции в Подкове-Лесной под Варшавой в октябре 1994 г. Значительная часть произнесенных там докладов опубликована.

Помимо разработки программных исследований в совместную программу была включена продолжающаяся по сей день работа по выявлению и изучению документов, связанных с судьбами отдельных людей – работа, которая, быть может, вызывает в Польше наибольший резонанс.

К сожалению, вне совместной программы оказались еще два направления нашей работы. Первое – поиск очень важных для поляков сведений о судьбах их пропавших в СССР родственников, о местах захоронений родителей и других родных, где можно было бы поставить крест. Каждое лето в Россию приезжают с этой целью люди из Польши и других стран. Найти эти сведения бывает нелегко, нужно выяснять, что имеется по этому поводу в следственных, тюремных, лагерных делах (а у депортированных таких



дел вообще нет), часто требуются доверенности и т.д. Все это делается как бы в частном порядке, в нашу совместную программу это направление не включено. Спасибо мемориальцам на местах, они помогают в этих поисках (И.В.Федушак во Львове, В.П.Патолицын в Ухте, М.Б.Рогачев в Сыктывкаре).

Второе направление – розыск в Польше и в других странах родственников и историй семей поляков, выехавших из Польши в Россию, и тех кто был вывезен насильно и остался в России и странах СНГ. Обычно такие поиски предпринимаются не из корыстных соображений, а из потребности «найти корни» и рассказать о них детям и внукам. Поляки, которые «во спасение» меняли свои польские фамилии на русские, семьи, в которых матери, боясь за них, скрывали от детей их польское происхождение (отцы в таких семьях были чаще всего арестованы) хотят восстановить правду, узнать о своих предках, о своих родных местах, о родственниках. Иногда нам удается найти эти сведения. Но такие поиски длятся долго, потому что чаще всего почти ничего неизвестно и действовать приходится самыми разными способами, обращаясь во многие учреждения и ко многим людям. Последний пример такого рода: находка в Англии семьи Войтулевичей. В середине 1994 г. председатель Хакасского «Мемориала» К.Р.Кызласова написала мне, что в Абакане живет женщина-полька Генрика из семьи Войтулевич, депортированной в Хакасию из-под Гродно в 1940 г. В семье были мать и пятеро детей: дочь, у которой вскоре родилась девочка (это и есть Генрика) и четверо сыновей. Сыновья в 1941 г. ушли в армию Андерса, остались две женщины и девочка. После войны

сыновья выписали свою мать в Англию. Мать Генрики умерла. И вот теперь Генрика и мемориальцы из Абакана спрашивают, как найти ее родственников. Я вспомнила, что среди моих английских знакомых, есть женщина - полька, связанная с Amnesty International, которой моя просьба будет понятна. Так и случилось: семью Войтулевичей в Англии нашли. Они были счастливы тому, что узнали. Дядя Генрики, он же ее крестный отец, много раз звонил мне по телефону и говорил, что я «совершила чудо», что он 50 лет ищет племянницу, что он обращался в Международный Красный Крест в Женеву и, как только стало возможно, поехал в Польский Красный Крест в Варшаву. «И никто нам Генрики не нашел, а вы нашли». После этого обе стороны пересылали через меня письма, звонили, Генрику пригласили в Англию в гости.

Когда делаешь такую работу, начинаешь понимать, что история вообще, а в «минуты роковые» в особенности – это, прежде всего, история судеб обычных людей. Не столько «великих», сколько разнообразно обыкновенных. Судьбы людей всегда оставались интересны, и именно они характеризовали эпоху. По крайней мере для меня.

И когда появилась хоть какая-то возможность помочь людям, особенно жертвам зла, творимого страной, в которой ты жила, осуществлять эту возможность стало долгом и радостью. Так и возникла польская комиссия «Мемориала».

Это последняя статья Анны Михайловны, скончавшейся 21 августа 2000 г.



Сергей Глушков

ТАЙНЫ ЗАХОРОНЕНИЯ ПОД МЕДНЫМ

Мы с благодарностью перепечатаем очерк, опубликованный в 10/11 номере (за 1996 г.) журнала рязанского «Мемориала» «Карта». Этот текст рассказывает об открытии нашими мужественными российскими друзьями места захоронения 6311 польских военнопленных (вернее – интернированных) из лагеря в Осташкове. В апреле 1940 г., по решению Политбюро ЦК ВКПб от 5 марта 1940 г. их казнили палачи из отряда, которым командовал В.Н.Блохин, начальник комендатуры НКВД СССР.

Факты, раскрытые мемориальцами из Твери, являются неопровержимым доказательством того, что преступление было совершено не немцами: до Твери (Калинина) немцы во время войны не дошли. Как показал тогдашний начальник Калининского управления НКВД Токарев, В.Блохин применял немецкие пистолеты «ВАЛЬТЕР 7/65» с немецкими же патронами. Они были табельным оружием палачей НКВД и ничего удивительного, что немецкие пули найдено в черепах расстрелянных в Пятихатках и Катыни. Бессмысленным стало убеждать российское общественное мнение, как это делают господа Мухин или Николаев, что катынская истина – всего лишь антисоветская выдумка. (ред.)

Для нас, членов тверского «Мемориала» факт захоронения польских военнопленных в районе Медного стал известен буквально с первого месяца существования нашего общества, вернее, тогда еще инициативной группы. Уже на первом митинге памяти жертв репрессий 26 ноября 1988 года мы говорили об этом и даже называли цифру — 10 тысяч. Потом, когда в ходе расследования, проведенного Главной военной прокуратурой, стало известно число казненных поляков — более шести тысяч человек, — мы решили, что та, первая цифра была неточной. Но совсем недавно, несколько месяцев назад, к уже известному числу

поляков добавилось число казненных соотечественников — около 4 тысяч. И, таким образом, первоначальная цифра, казавшаяся многим всего лишь слухом, оказалась совершенно точной.

Откуда же пошел этот «слух»? Как ни странно, именно оттуда, где его долгое время не хотели признавать, — из управления КГБ по Калининской области. Наверное, еще не пришло время назвать имена тех, теперь уже бывших сотрудников этого управления, которые передали эту информацию общественности. Тем более, что сам факт ее утечки вызвал у тогдашнего руководства УКГБ сильное беспокойство. Все мемориальцы хорошо запомнили встречу с полковником А.И.Тарасовым, состоявшуюся сразу после второго мемориального митинга 5 марта 1989 г. Главное, что интересовало начальника идеологического отделения Управления — откуда к нам попали сведения о медновском захоронении. Одновременно, с неменьшим упорством, он пытался убедить нас, что никакого захоронения в районе дач КГБ под Медным нет и быть не может. «Иначе бы мы о нем знали», — звучало как самый веский аргумент. Очень скоро ложь полковника стала для нас еще более очевидной. Один из сотрудников управления, человек, безусловно, совестливый и честный (признаюсь, до встречи с ним я полагал, что под сенью андроповско-крючковской конторы такие люди существовать не могут), передал мне примерные координаты захоронения поляков. Вскоре после этого полковник Тарасов еще раз пожелал встретиться с мемориальцами, но не со всеми, а лишь с двумя женщинами, которых он считал, видимо, более разговорчивыми. Смысл состоявшейся беседы был все тот же: полковник настоятельно просил сообщить ему, откуда мы знаем о медновских захоронениях. Это было нужно якобы для осуществления их поиска. Но полковнику не повезло, женщины «не раскололись»,

В сентябре 1989 года, рискуя быть задержанными охраной базы отдыха КГБ, мы



попробовали отыскать место захоронения с помощью пяти лопат. Но ничего не нашли. Однако, когда два года спустя было вскрыто первое захоронение поляков, мы убедились, что координаты нам были даны хотя и приблизительные, но верные — мы ошиблись всего на 10-15 метров, и будь у нас сколько-нибудь времени к запасе, уже следующей серией шурфов мы должны были наткнуться на могилы...

В 1990 году, после известной переписки между польским и советским президентами, было официально возбуждено уголовное дело, а расследование по факту убийства польских пленников из Осташковского лагеря было поручено Тверскому управлению КГБ. Однажды на заседании комиссии по увековечению памяти жертв репрессий, существовавшей тогда при облсполкоме, я предложил методику поиска мест захоронений с помощью шурфов — «закопушек». Проработав немало лет на инженерно-геологических изысканиях, я мог бы и обосновать эту методику, и организовать сами работы с помощью добровольцев, недостатка в которых тогда еще не было. Мое предложение было отвергнуто тогдашним начальником УКГБ В.А.Лаконцевым, я бы даже сказал, с негодованием. «Это дело специалистов», — заявил он. Кстати говоря, методика зондировочных работ, примененная впоследствии польскими специалистами, по сути мало чем отличалась от той, что предлагали мы. Только вместо лопат они применяли хорошо мне знакомый ручной бур геолога. А вот «специалисты» из КГБ за все месяцы, пока следствие находилось в их руках, не нашли буквально ничего.

Причина, я думаю, проста. Им и не нужно было ничего искать. Стоило только поднять документы и ткнуть пальцем: вот здесь лежат поляки, здесь — наши. Но делать этого им не хотелось. Может жалко было дач, а скорее всего просто ждали: им казалось, что все еще может повернуться в обратную сторону. И действительно: в первый же день гзкачепистского переворота генерал Лаконцев распорядился приостановить работы по эксгумации одного из польских захоронений, начатые четыремья днями раньше. Правда, полковник Третьцкий, руководитель следственной группы Главной военной прокуратуры, которой к тому времени было передано следствие из рук явно бездействовавшего тверского УКГБ, отказался

выполнить это распоряжение и работы продолжались. Промахнувшийся таким образом генерал вскоре был переведен от греха подальше — в Москву, а сам КГБ после основательных перетрясок превратился в Федеральную службу безопасности.

Между тем игры в странные тайны, похоже, продолжают. До сих пор остается неясным, откуда возникла цифра — 4 тысячи расстрелянных советских граждан. По заверениям пресс-службы тверского управления ФСБ, у них никаких данных о количестве захороненных в Медном нет. И как появилась эта цифра в докладной записке ФСБ на имя премьера Черномырдина, они не знают. «Видимо, из центрального архива», — сказали мне. Я звоню Николаю Антоновичу Шушакову — известному краеведу, в прошлом — сотруднику Калининского УКГБ, имевшему самое непосредственное отношение к его архиву. Он мне рассказывает, что примерно в 1979 или 1980 году приезжали в Калининское управление какие-то «ребята» из Москвы. Месяца два они работали в районе дач под Медным. Цель их работы, по мнению Николая Антоновича, состояла в том, «чтобы все запрятать». После них и появился рядом с легкими дачными домиками солидный бревенчатый дом, накрывший центральную часть захоронения, из которого кое-где вымывались или выдавливались наружу человеческие кости.

Знали ли отдохавшие здесь чекисты, что скрыто под корнями молодого леса окружавшего дачи? То, что многие догадывались — несомненно. Но не все. Помню потрясение коллеги-журналистки, вместе с которой мы однажды заехали в это место на редакционной машине по пути в дальнюю командировку. Она отдыхала здесь когда-то у своего дяди-чекиста. И, разумеется, ей никто ничего не говорил... Н.Д.Шушаков утверждает, что в сейфе хранилась схема этого района с указанием всех захоронений, вплоть до отдельных могил, появившихся здесь уже во время войны в результате деятельности трибунала 29-й армии. Потом эта схема исчезла. Во всяком случае, когда В.А.Лаконцев принимал дела, ее как будто бы уже не было. Трудно сказать, каков был порядок уничтожения подобных документов. Несомненно одно: были в КГБ секреты недоступные даже высокопоставленным сотрудникам, не говоря уж о рядовых.



В докладной записке, представленной тверским управлением ФСБ администрации области в этом году, говорится о том, что шестьдесят с лишним томов, содержащих протоколы заседаний «троек» и переписку, касающуюся приведенных приговоров в исполнение, не дают ответа на вопрос о местах захоронения казненных. При этом дается ссылка на известный оперативный приказ наркома Ежова № 00447 от 30 июля 1937 года, предписывающий сохранять в полной тайне место и время приведения приговоров в исполнение. Но дело в том, что место расстрела и место захоронения — это два разных места, и на второе этот приказ явно не распространялся. К тому же места захоронений надо было как-то охранять, чтобы они не были случайно раскопаны. (Так появилась, видимо, идея устраивать над могилами зоны отдыха для чекистов). Но держать все эти мероприятия в тайне от своих же было невозможно.

Вот и Н.А.Шушаков не отрицает, что о месте и количестве захороненных он знал давно. Знает он и сколько расстрелянных лежит на Волынском кладбище в Твери. Знает, но цифру пока не называет — видимо, не хочет подводить своих бывших коллег, не желающих обнародовать это число. Так что, тут мы имеем дело еще с одной «странной» тайной.

Однако вернемся к медновскому захоронению, вернее к памятникам над российскими и польскими могилами. Всего через четыре дня после открытия памятного знака «соотечественникам — жертвам войн и репрессий» состоялась установка закладного камня на месте польского военного мемориала. Конечно, традиции у наших стран разные, и все же стоит сравнить обе церемонии. При нашей получасовой польская длилась три часа. Из неблизкой Польши прибыли сотни людей, большинство из которых составляли не чиновники разных ведомств, а родственники погибших. У нас же даже из Твери не пригласили ни родных — тех самых «детей врагов народа», что вдоволь нахлебались своих собственных бед, — ни уцелевших узников. И вся наша церемония прошла в присутствии почти одних только «официальных лиц», то есть чиновников, прибывших более по служебной необходимости, чем по велению совести. Если бы было по-другому, то, наверное, первый в области памятник согражданам, принявшим мученический венец появился бы в

самой Твери — либо на Волынском кладбище, либо на месте казни, рядом с нынешней медицинской академией. Тем более, что решения о сооружении этих памятников давным-давно принимались... Вот и приходит поневоле мысль, что и в Медном не было бы памятника соотечественникам, если бы не легли рядом с ними польские мученики. А что же мы сами — даже в памяти о близких своих будем лишь за соседями тянуться?

Медновское и волынское захоронения жертв репрессий — далеко не единственные в нашей области. Недавнее обнаружение останков казненного НКВД тверского архиепископа Фаддея на Неопалимовском кладбище доказывает, что и там закапывали убитых или умерших в чекистских застенках. Между тем, никто не занимается их поисками. Зброшенное кладбище постоянно оскверняется грабителями могил, число которых в наше лихое время все растет. Устные показания о других местах захоронений в Твери, собранные в свое время членами «Мемориала», никем всерьез не проверялись. Общество не имеет возможности самостоятельно вести подобные расследования. Да и, если честно говорить, общее внимание к трагическим страницам недавнего прошлого после всплеска пяти-семилетней давности, можно сказать затухает. Мириться с этим — значит мириться с затуханием общественной совести, которое всегда идет рядом с национальным вырождением. В нашей истории не должно быть странных тайн — иначе мы рискуем вернуться к самым худшим временам нашего прошлого, по сравнению с которыми нынешние трудности покажутся просто смешными.

Тверь

2-го сентября состоялось торжественное открытие Мемориального кладбища польских жертв в Медном, на которое прибыли семьи погибших и официальные делегации Польши и России. „ПРОСТИТЕ НАС, ПОЛЯКИ” — записки такого содержания положил на многие могилы Георгий Дигенко, 40-летний коммерсант из Твери. „Я сделал это, чтобы почтить память тысяч невинно убитых, — сказал Г. Дигенко, — Я всегда думаю о том, как страшно мы вас обидели, сколько боли мы вам причинили!” „Эта записка имеет для меня большую ценность, чем сто выступлений официальных лиц”, — сказал Ян Хила, внук убитого в Медном польского полицейского Томаша Луны.



**Кристина
Курчаб-Редлих**

ДОКЛАД ЗОРИ

Можно позавидовать людям, у которых нет никаких счетов к истории. Все ясно и понятно. Каток истории по ним не прошелся. Их предки умирали своей смертью или, того лучше, в своей постели. Исторические названия не вызывают у них ни особого волнения, ни печали. Ни Освенцим, ни Катынь, ни Лубянка, ни Раковецкая улица. Но дальше речь пойдет о вещах совершенно противоположных.

Передо мной сидит пожилой человек, русский. Его отца убили 22 мая 1946 г., ночью, на Гюнтермюллерштрассе 22 в Нюрнберге. Эта смерть привела сына, искавшего ее причин, к могильным рвам Катынского леса. Это он доказал вину СССР в катынском преступлении. Моего собеседника зовут Юрий Зора. Его отца звали Николай Зора. Он был одним из советских обвинителей на Нюрнбергском процессе. Ему было 38 лет, когда объявили, что его смерть наступила в результате “неосторожного обращения с личным оружием”. Семье сообщили: самоубийство.

Юрию Зоре было в то время семнадцать лет. 21 мая вечером он говорил с отцом по телефону о том, что, сдав последние школьные экзамены, сразу же приедет к отцу в Нюрнберг. Обговаривали детали. Из комнаты, в которой лежал убитый, офицеры СМЕРШа (“Смерть шпионам” — группа особого назначения НКВД) забрали разные вещи: с одеяла на постели — пистолет “Вальтер”, из кармана пиджака — записку, с подоконника — гильзу совершенно иного калибра, не от “Вальтера”, с письменного стола — документы, над которыми он работал. Все будет старательно упаковано и отправлено спецпочтой в Москву. Документы — пропадут. Записка — исчезнет по дороге в лабораторию. Гильза... Наверное, ее просто выбросили...

* * *

“Уважаемый господин Юрий! В мае 1946 года мне позвонили из секретариата Сталина домой, в Лейпциг. Приказали к утру сделать цинковый гроб для транспортировки Вашего отца в Москву. Приказ был выполнен в срок, Вашего отца доставили на аэродром. В это время испортилась погода. Самолет в течение нескольких часов не мог вылететь. Из секретариата Сталина пришел новый приказ: похоронить на месте. Что и было сделано. Перед погребением никакой экспертизы не проводилось. Через год его останки были извлечены и кремированы. Жена, к сожалению, не помнит, на каком кладбище похоронен Ваш отец”.

Автор
статьи
беседует
с Юрием
Зорей





* * *

Имя Николая Зори убрали из всех материалов о Нюрнбергском процессе, которые вышли в Советском Союзе. Его фигура исчезла из кинофильмов и с фотографий. И в немногочисленных, кастрированных советских документах, касающихся того процесса, сын Н.Зори не нашел ничего. Когда спустя годы он смог познакомиться с зарубежными изданиями, то понял, что огромное большинство материалов, изданных на Западе совершенно легально, в СССР считаются секретными, хранятся в особых архивах и доступ к ним имеет чрезвычайно узкий круг лиц. Оказалось также, что в СССР опубликовано менее трети материалов, известных за границей. Остальные оставались неизвестными даже историкам. То, о чем умалчивали советские материалы Нюрнбергского процесса, можно свести к двум пунктам: чего Сталин не хотел и чего он хотел.

Сталин не хотел оглашения правды о том, как начиналась война. В Лондон, где победи-

тели готовили устав Нюрнбергского процесса, делегация из Москвы привезла утвержденный в ноябре 1945 г. перечень нежелательных вопросов. В нем было девять пунктов. Пункт первый: секретный протокол к советско-германскому договору о ненападении и все, что с ним связано. Пункт последний: советско-польские отношения (проблема Западной Украины и Западной Белоруссии). Замалчивать кое-какие факты советской стороне стало возможно, ибо кое-что желала замолчать и другая сторона. Например, Франция и Англия предпочитали предать забвению позор Мюнхенского соглашения. Не могла же немецкая защита обвинить обвинителей в том, что их трусость и нерешительность



Николай Зоря
среди
прокуроров
Нюрнбергского
процесса

стали причиной ликвидации Чехословакии. Этого победители не могли допустить: чужой позор должен был стать мерилом их добродетели.

Из Москвы правила движения по этому полю лжи устанавливала «Комиссия по руководству работой советских представителей в Международном трибунале в Нюрнберге». Возглавлял ее замминистра иностранных дел СССР Андрей Вышинский. По каждому своему шагу он консультировался со своим начальником — Вячеславом Молотовым. А тот — со Сталиным.

Итак, известно, чего Сталин в Нюрнберге не хотел. А чего он хотел? Хотел, чтобы Нюрнбергский трибунал вынес приговор, согласно которому Катынь — это преступление немцев. Хотел, чтобы печатью столь высокой инстанции были запечатаны уста истории. И вот 14 февраля утром, неожиданно для всех, один из советских обвинителей (Покровский) начал говорить о преступлении немцев в Катыни. Англичане и американцы остолбенели. И потому, что это выходило за рамки протокола, и потому, что это было так скверно подготовлено.

Нюрнбергский суд решил вернуться к рассмотрению этого вопроса после того, как обвинитель представит дополнительные доказательства.



Москва решила, что представлять ее будет не Рагинский (прокурор на процессах троцкистов), и не Шейнин (прокурор на процессе об убийстве Кирова), а именно Н.Зоря.

* * *

Из архива ЦК ВКП(б): “Зоря Николай родился в 1907 г. в Киеве. Отца не помнит, мать умерла в 1921 г. Некоторое время беспризорничал, потом стал воспитанником детдома в Москве. В 16 лет поступил в Московский университет. В 1923-1927 гг. — студент юридического факультета”. Дважды пытался начать заниматься научной работой (1929 и 1933), но каждый раз его отзывали по службе. Карьера: от следователя районных прокуратур в Пятигорске, Тамбове и Воронеже до заместителя главного прокурора железнодорожного транспорта. Наконец, назначение на должность заместителя прокурора СССР!

Прокурором СССР был Андрей Вышинский. Он был артистом в своем деле. “Один из самых талантливых и прекрасно подготовленных прокуроров” (пишет А.Орлов в “Тайной истории сталинских преступлений”). Это он ввел обязательный принцип, санкционировавший пытки: “признание обвиняемого — царица доказательств”. А кроме того, “обладатель прекрасных манер, напоминающий царского офицера” (Орлов). Палач, всю жизнь умиравший от страха, что с ним могут разделаться за ошибку молодости: меньшевик, начальник Якиманского отдела милиции в Москве, Вышинский поставил свою подпись под ордером на арест изменника и немецкого шпиона — Ленина.

Зорю судьба свела с Вышинским в университете. Вышинский был ректором, Зоря — студентом, который вначале не отличался прилежанием, но потом занимался столь успешно, что четыре курса закончил за три года. В раннем детстве его обучали французскому языку, живописи и игре на пианино, заложили хорошие манеры. Будучи секретарем университетской комсомольской организации, Н.Зоря виделся с ректором часто. Вышинский относился к нему благосклонно. Но замом Вышинского Зоря все же не остался.

В 1939 г. НКВД возглавил Лаврентий Берия. Он, в частности, распорядился проверить некоторые приговоры, вынесенные этим ведомством. Зоря добросовестно выяснил, что в большинстве дел приговоры выносились на основании сфабрикованных доказательств, особенно по делам о саботаже и вредительстве. Зоря не понял, что распоряжение Берии было чисто формальным и так его и надлежало выполнить. Вызванный в ЦК, он услышал, что для работы в прокуратуре СССР не годится.

В довершение всего в НКВД получили сигнал: некий Сударкин на следствии признался, что как диверсант он умышленно разместил рабочих в доме под горой, чтобы земля, осунувшись от сильного дождя, этих рабочих засыпала. Так оно и было. А прокурор города Н.Зоря посчитал это не диверсией, а всего лишь несчастным случаем (стихийным бедствием). За Николаем Зорей установили слежку. Арест, казалось, был неизбежен.

Но на сей раз обошлось. В августе 1939 г. Сталин объявил частичную мобилизацию. Недавний зампрокурора СССР вступил в ряды Красной армии рядовым! Он воевал в Финляндии (где ему даже позволили стать помощником военного прокурора), а потом через Керчь, Сталинград, Орел с 3-й армией Николай Зоря дошел до Белостока. Между Финляндией и Керчью была еще передышка в Москве, назначение на должность прокурора военного округа. В округ этот входил Калинин (прежде, а теперь снова — Тверь).

Весна 1940 года. Можно предположить, что до прокурорского кабинета в Москве доходит эхо выстрелов в Медном...



* * *

С польскими проблемами война столкнула Николая Зорю дважды. Первый раз — где-то между Белостоком и Минском. Второй — в Люблине. “Был июнь 1944 года, — рассказывает Юрий Зоря. — Отец разрешил мне приехать к нему под Белосток на месяц. Вдруг его вызывают в Москву. Помню, как по дороге, под Минском, мы заехали к маминому брату дяде Гоше, командиру партизанского отряда. Помню, как на заднем сиденье автомашины я придерживал 25-литровый бидон темного белостоцкого пива. Наверное, это пиво и заставило их забыть обо мне во время разговора.

Дядя сказал:

— Как только вошли наши войска, поляки, которые воевали в моей бригаде, исчезли, словно корова языком слизнула.

— Чего они испугались? — спросил отец.

— Ты что, не знаешь? Что их расстреляют, как в Катыни...

Отец кивнул и рассказал, что когда на территории СССР формировали польскую армию и искали для нее капелланов, то нашли двоих еще живых ксендзов. Одним из них был ксендз Купш. И отец начал рассказывать об этом Купше. Вдруг он сообразил, что разговор идет в моем присутствии и отправил меня за дверь...”

Николая Зоря вызвали в Москву, чтобы направить в Польшу. Его назначили советником по правовым вопросам Николая Булганина, возглавлявшего советское представительство при Польском комитете национального освобождения [временном правительстве]. В Люблине Зоре приходилось нелегко. Это было время Варшавского восстания: напряженность между представителями СССР и поляками возрастала. СМЕРШ вовсю истреблял солдат Армии Крайовой в районе Белостока, Хрубешува и Жешува. Зоря добился, чтобы “польских шпионов, диверсантов, бандитов, террористов и лиц, виновных в антидемократической агитации” (из письма генерал-полковника Булганина главе временного правительства Осубке-Моравскому) передали из советской юрисдикции в польскую. После этой директивы (10 октября 1944) СМЕРШу пришлось ограничить свою деятельность, а НКВД практически парализовал деятельность советника Зори.

Зоря просил Булганина отправить его в Москву с докладом Вышинскому. Булганин несколько раз ему отказывал. Тогда Зоря написал жене, чтобы она обратилась к Вышинскому с просьбой вызвать мужа из Люблина. И Вышинский пошел ему навстречу. 7 января 1945 г. Зоря покинул Польшу, а затем попросил начальство совсем его оттуда отозвать “по причине своей непригодности”.

* * *

“В Прокуратуру СССР...

Потеря генерала Зори является для меня тем более горькой, что во время совместной с ним работы я увидел в нем искреннего друга демократической Польши.

Заместитель министра юстиции ПНР Леон Хайн

29 мая 1946 года”.

В архиве министерства иностранных дел СССР хранится обращение польского МИДа, в котором запрашивается согласие советской стороны на посмертное награждение Николая Зори польским орденом. Ответа не последовало.

Почти год Зоря оставался без работы. Но Кремль начал ощущать нехватку хороших юристов: старых ликвидировали, молодые еще не подросли. Несмотря на недовольство Вышинского докладом из Люблина, Николая Зоря назначили помощником генерального



прокурора СССР. В этом качестве он принял делегацию польских юристов во главе с министром юстиции.

После этого визита краковский прокурор Роман Мартини смог беспрепятственно открыть следствие по делу о Катыни (но не завершил его, так как был убит).

А молодой юрист вскоре вышел на свою финишную прямую. 28 декабря 1945 г. в новой форме советника юстиции III класса он

вылетел в Германию. “Это был последний раз, когда я видел отца”, — говорит Юрий Зоря.

Во время Нюрнбергского процесса Зоря совершил три ошибки.

Ошибка непоправимая: 11 февраля 1946 г. он допрашивал фельдмаршала Фридриха фон Паулюса. Цель — доказать, что Германия напала на СССР внезапно. Допрос он вел блестяще (на следующий день о нем писали все газеты) вплоть до того момента, когда заявил, что теперь будут “представлены материалы и показания людей, располагающих достоверными сведениями о том, как на самом деле проходила подготовка нападения на Советский Союз”.

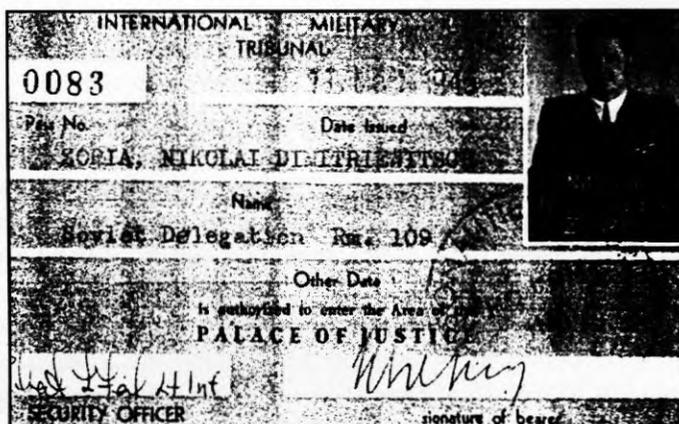
Тут речь Н.Зори оборвали на полуслове. Кабины советских переводчиков были отключены. Сталин приказал, чтобы дальше фон Паулюса допрашивал главный советский обвинитель Роман Руденко. О том, что на самом деле происходило перед 22 июня 1941 г., мир не должен был узнать никогда!

Ошибка неизбежная: проигрыш в интриге вокруг Риббентропа. Зоря получил приказ не допустить показаний Риббентропа о существовании секретного протокола к советско-германскому договору о ненападении. Но и Риббентроп, и его заместитель Вайцеккер под присягой раскрыли его содержание.

Это произошло 22 мая 1946 года. На следующий день Зоря нашли мертвым. Смерть члена советской делегации в центре внимания всего мира — это не сталинский стиль. Сталин вызвал бы жертву в Москву и там с ней расправился. Значит, Зоря совершил что-то неслыханное, потребовавшее немедленной реакции. Он совершил ошибку непростительную: попросил своего непосредственного начальника, генерального прокурора СССР Горшенина, немедленно отправить его в Москву для доклада Вышинскому о документах по Катыни, ибо после их изучения у него появились сомнения, сможет ли он с ними завтра выступить перед трибуналом.

Горшенин отказал. Сомнения в сталинской правде о Катыни — это смертный приговор не только сомневавшемуся (что многократно подтвердилось позднее), но и его окружению. Зоря, скорее всего, этого не учел. Наверное, он надеялся, что такой юрист, как Вышинский, поймет слабость обвинения и не допустит поражения советской стороны перед трибуналом. И, может, позволит ему не возвращаться из Москвы в Нюрнберг, как когда-то в Люблин.

На установление этих фактов сын Николая Зори потратил почти полвека. В 1987 (!) году военный прокурор тайком передал ему фотографию лежащего в постели темноволосого



Удостоверение Николая Зори — прокурора Нюрнбергского процесса



мужчины. На одеяле — старательно уложенный пистолет. С правой стороны на подушке — темное пятно. Мужчина как бы улыбается во сне.

В течение 50 лет повсюду задавая вопрос: “Почему погиб мой отец?” — Юрий Зоря, как камешки в мозаику, собирал обрывки фраз, архивные вырезки, складывал воедино чьи-то отрицательные покачивания головой или утвердительные кивки, более или менее испуганные взгляды, с трудом вытянутые слова. Поиски правды о Катыни стали при этом как бы своеобразной мезью истории за ту смерть. Так ли это? Юрий Зоря на такие вопросы не отвечает.

Нюрнбергский трибунал не решил вопроса о Катыни, оставил его открытым. Открытым для манипуляций. Вот инструкция послан в Варшаве и Лондоне, утвержденная политбюро ЦК КПСС 12 апреля 1971 г.: “В 1945-46 годах Международный военный трибунал в Нюрнберге признал главных немецких военных преступников виновными в осуществлении политики уничтожения польского народа, в частности в расстреле польских военнопленных в Катынском лесу”. Или: “В апреле 1943 года геббельсовская пропаганда сфабриковала доказательства совершенного якобы органами НКВД расстрела 10 тысяч польских офицеров в районе Катыни под Смоленском”, — пишет научный сотрудник Института истории АН СССР Наталья Лебедева в 1989 году.

* * *

В конце 70-х Зоря обратился в Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР, ныне Государственный архив Российской Федерации — ГАРФ) с просьбой разрешить работу с источниками, касающимися Нюрнбергского процесса. Не разрешили. Когда от него потребовали перечень вопросов, над которыми он собирается работать, он назвал Катынь. Пожилая сотрудница архива сказала ему: “Попробовали бы вы обратиться с такой просьбой в 1937 году!” Кроме допуска к работе с секретными документами от него потребовали еще и особое разрешение.

— Чье? — спросил он.

— Сами знаете...

Зоря начал искать инстанцию, от имени которой он мог бы выступать (он занимал должность старшего преподавателя Военно-дипломатической академии). В начале 80-х, узнав, что издательство “Юридическая литература” собирается издать новые материалы по Нюрнбергскому процессу, он предложил свои услуги в подборе документов.

Валерий Титов, ответственный редактор издательства, к счастью, оказавшийся его единомышленником, включил Ю.Зоря в состав авторского коллектива, а сам генеральный прокурор СССР Александр Рекунов, который одновременно был главным редактором издания, одарил его разрешением работать с архивными материалами и в ЦГАОРе, и в архиве МИДа.

К сожалению, оказалось, что искомые материалы столь секретны, что хранятся не в “обычных” секретных архивах, а в особых. Но никто не мог сказать, в каких именно. А кроме того, в начале 60-х органы КГБ изъяли из ЦГАОРа документы секретариата НКВД СССР за 1937-1953 гг. О доступе к ним и речи быть не могло.

* * *

Могильники замороженных слов. Айсберги советских архивов... Еще не пришло такое лето, чтобы их растопить.



После 1987 г. вроде бы повеяло весной. Но потепление стало ощутимым только два года спустя.

31 марта 1989 г. политбюро ЦК КПСС поручило Генеральной прокуратуре, КГБ, МИДу, а также международному и идеологическому отделам ЦК в течение месяца представить предложения, как в дальнейшем формулировать советскую позицию по вопросу Катыни. Что-то надо делать! Поляки снова требуют!

В коридорах архивов встречаются посланцы “инстанций”, историки всех мастей, журналисты.

22 апреля 1989 г. Генеральная прокуратура СССР совместно с КГБ обязались провести тщательный анализ всех обстоятельств того, что случилось в Катыни. Неужели над айсбергами пронесся солнечный ураган? Без паники: уже в мае все инстанции, участвовавшие в проверке, отрапортовали: новых обстоятельств по катынскому делу не обнаружено.

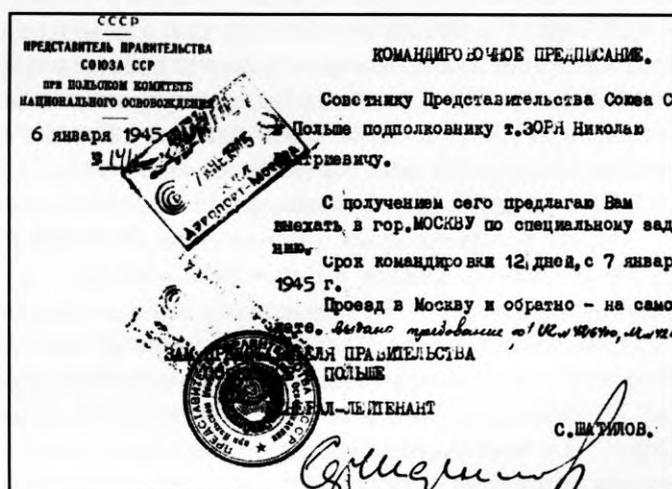
* * *

Однако журналисты (замечательный Владимир Абарин из “Литературной газеты” и Геннадий Жаворонков из “Московских новостей”) и научные работники (Парсаданова, Лебедева — да, да, та самая, которая несколько месяцев тому назад утверждала, что Катынь — это вина немцев, а потом под влиянием таинственных сил стала лидером гонки за истиной) нашли в архиве советской армии документы, касающиеся конвоев НКВД в 1939-1940 гг. Не все. Но след уже был. Правда, доказательство этапирования — это еще не доказательство преступления.

Начало мая 1989-го. Зоря узнал от директора архива МВД, что все материалы о польских военнопленных были переданы в начале 60-х в Особый архив при Главном архиве СССР. Он позвонил директору Особого архива Анатолию Прокопенко, и тот согласился его принять! Невероятно! (Особый архив был создан по приказу Сталина в конце 40-х для хранения трофейных документов, вывезенных из Германии и других государств). Но радоваться рано. Прокопенко, правда, подтвердил, что в его архиве есть документы о польских военнопленных, но разрешение на доступ к ним может выдать только директор Главного архива Федор Ваганов.

Такого разрешения еще никто не получал!

В издательстве “Юридическая литература” Ю.Зоре, пожалвав плечами, дали рекомендательное письмо в Главный архив. И вот он приступил к “спецмероприятию”: выяснив, когда Ваганов уезжает в командировку, утром 25 мая 1989 г. он пришел в Главный архив. Но в архиве никого не принимают: в Кремле начался “перестроечный”, исторический съезд народных депутатов, который должен выбрать первого в СССР президента! Вся страна, попивая чаек, припала к экранам телевизоров и слушает Горбачева.



Удостоверение
Николая Зори —
представителя
СССР при
Польском комитете
национального
освобождения



Зоря пытался попасть к заместителю Ваганова — тов. Елпатьевскому, о котором говорят, что он “человек”. Бдительность секретарш, припавших к телевизору, ослабела, и Зоря проник в вожделенный кабинет. Елпатьевский никак не желал завизировать письмо из “Юридической литературы”, отсылая к Ваганову, но в конце концов поддался на уговоры. Теперь бумагу надо было зарегистрировать в общем отделе. Заведующая отделом отказывалась регистрировать без согласия Ваганова. Зоря убеждал ее, ссылаясь на всех советских святых в этот праздничный день. Письмо зарегистрировано! Зоря отнес его в Особый архив...

И вот благодаря съездовским фанфарам Зоря держит в руках приказы об отправке в распоряжение областных управлений НКВД польских военнопленных из лагерей в Старобельске, Козельске и Осташкове. Название “Катынь” в них не упоминается, но все ясно. Значимость найденного трудно переоценить — это уже были не только списки конвоируемых. Это были приказы, и черным по белому было написано, кто и когда их отдал.

Ю.Зоря просмотрел около сотни дел, а выводы записал в специальной тетради, в которую полагалось записывать результаты работы в архиве (с собой никаких записей выносить нельзя!): “Из источников Главного управления по делам военнопленных и интернированных при НКВД следует, что к трагедии в Катыни причастны органы НКВД”. И на десяти страницах он это доказывает. Когда Прокопенко узнал об этом, то посоветовал и дальше действовать через голову Ваганова. И на всякий случай уехал в отпуск...

Первая половина июня 1989-го. Зоря (бывший военный) решил действовать согласно букве закона. Он явился к Ваганову и сообщил ему о результатах розысканий. Ваганов ошалел: стал осыпать ругательствами Зоря и Прокопенко. “Очень было странно смотреть, — вспоминает Ю.Зоря, — как этот маленький человечек, пыхтя как самовар и ругаясь на чем свет стоит, подпрыгивал на фоне массивной мебели шикарно обставленного кабинета”. Сбежались сотрудники. Ваганов орал: “Чтоб ноги этого самозванца тут больше не было!” И реквизировал тетрадь с записями.

* * *

Отдельная битва за правду о Катыни шла между ЦК КПСС и КГБ. Во время съезда народных депутатов заместитель председателя комиссии съезда, консультант международного отдела и помощник секретаря ЦК Валентин Фалин предложил заново рассмотреть катынское дело. Его поддержал председатель комиссии Александр Яковлев. На сей раз в Особый архив к Прокопенко был отправлен запрос о материалах по Катыни и от депутатов, и из ЦК. Ответ был один: материалов по Катыни в Особом архиве нет! Фалин обратился в КГБ (зная, что в архиве есть постановление особого совещания при НКВД СССР, на котором было принято решение о судьбе польских военнопленных) с запросом, есть ли у них какие-нибудь материалы по Катыни.

Ответ: таких материалов здесь нет.

19 июня 1989-го. Юрий Зоря отправился к сопредседателю советско-польской комиссии историков, академику Г.Смирнову, члену ЦК КПСС, директору Института марксизма-ленинизма. Смирнов вначале с интересом выслушал посетителя, потом сказал: “А вы понимаете, что вы нашли? Ваша версия принципиально отличается от официальной. Ведь две недели тому назад на политбюро был заслушан доклад, в котором констатировалось, что по делу о Катыни новых документов не найдено. Я вам советую быть благоразумным. Последствия могут быть любые”. Тем не менее Смирнов сообщил Фалину о существовании Зори и о том, что тот сделал.



22 июня 1989 г. Фалин пригласил Зорю к себе в ЦК. Там Зоря составил справку о своем открытии. Фалин позвонил Ваганову с просьбой разрешить Ю.Зоре продолжать поиски в Особом архиве. Ваганов осыпал его ругательствами — воспитанного Фалина всего перевернуло, но он не потерял самообладания и попросил Зорю вспомнить номера хотя бы некоторых дел, после чего потребовал прислать их ему в ЦК. В этом Ваганов отказать не мог.

Потом наступила тишина. Фалин молчит, на звонки не отвечает. 20 июля 1989 г. Зоря явился к заведующему секретариатом Горбачева и попросил связать его с кем-нибудь из помощников президента. Зав. секретариатом (Александр Молокоедов) обещал помочь, попросив, чтобы Зоря больше ни с кем на эту тему не говорил. И вот на следующий день, 21 июля 1989 г., в ЦК, в соседнем с фалинским кабинете, Зоря начал работать с материалами, присланными из Особого архива.

И здесь происходит открытие принципиального характера! Зоря сравнивает фамилии из списка НКВД на тех, кого вывозили весной 1940 года из лагеря в Козельске “в распоряжение управления НКВД Смоленской области”, с эксгумационными списками из “Белой книги”, составленной немцами в 1943 году. И становится совершенно ясно — черным по белому, — что в катынских могилах лежат останки польских военнопленных, вывезенных в 1940 году из Козельска в Смоленскую область. Очередность лежащих в могилах — по эксгумационному списку — совпадает с очередностью в списках на отправку. В одном и том же порядке загружали, разгружали и расстреливали...

* * *

Отыскав еще и директиву Берии от 31 декабря 1939 г. (а также много других важных документов), Зоря составил доклад председателю КГБ Крючкову! Отважный человек. В начале 80-х Валентин Фалин предложил председателю КГБ Андропову рассекретить катынское дело и был уволен с работы. С работы на очень высокой должности.

Доклад Зори назывался “Документальная хроника Катыни” (в нем, в частности, фактографически подтверждалось то, о чем писали Чапский и Свяневич). Зорю вызвали на Лубянку, где его принял начальник архива Виноградов. Он уже знал, что над этим делом работает Лебедева (в прошлом коллега Виноградова по Институту истории) и спросил, кто еще занимается Катынью.

И вдобавок: почему Зоря занимается только теми материалами, которые свидетельствуют не в пользу НКВД? В конце разговора он заявил, что КГБ с расстрелом поляков никоим образом не связан и никаких шагов по расследованию предпринимать не собирается.

Январь 1990-го. Зоря и Прокопенко в течение месяца лично копируют материалы из Особого архива. Сделано пять копий. Одну они передали в МИД. Оттуда чиновник, отвечающий за рассекречивание и снятие грифа: “Совершенно секретно. Не вскрывать. Сведений не предоставлять”, — переслал ее в Главный архив СССР Ваганову. В ответ — телефонный звонок, из трубки летят ругательства и заявление, что МИД этих материалов обратно не получит.

13 апреля 1990 г. в Москве президент Горбачев торжественно вручил генералу Ярузельскому “Документальную хронику Катыни” и другие материалы. Документы подавал Горбачеву Федор Ваганов.

В 1988 г. Главная военная прокуратура проверила материалы дознания по делу о смерти Николая Зори. Было установлено, что “имели место фальсификации”. Но что касается причин, то прокуратура не располагает документами, которые позволили бы объективно су-



дить об обстоятельствах смерти. Заодно при проверке пропали все оригиналы писем и записей — и те, что были изъяты из пакетов, присланных из Нюрнберга, и те, что были переданы семьей.

* * *

А катынское дело?

Да, часть документов Горбачев передал президенту Ярузельскому.

Да, президент Ельцин признал вину СССР перед поляками за катынское преступление.

Но ни один суд, ни один трибунал, ни одна **юридическая** инстанция России не вынесла вердикта по этому делу. Не закрыла его окончательно.

Над небольшой братской могилой в Катыни многие годы возносились два крыла из мрамора. На правом по-польски высечено: “Польским офицерам, убитым в Катыни”. На левом, по-русски, и речи нет об убийстве: слово “погибшим” означает просто “павшим”...

Так что Юрий Мухин может безнаказанно втаптывать в грязь правду о Катыни и поляков как таковых в своем “Катынском детективе”, изданном в 1995 году.

А ультралевое периодическое издание “Завтра” может в июне 1997 г. называть Николая и Юрия Зорю изменниками родины, сваливающими вину нем-

цев на Советский Союз (“Что не удалось отцу, сделал сын”).

А на мой вопрос, когда же дело о Катыни будет завершено, заданный в 1998 г. одному из демократически настроенных депутатов Государственной думы, я услышала в ответ: “Сейчас атмосфера этому не благоприятствует...”

* * *

12 мая 1997 г. в московском Доме кино в присутствии представителей польского Сейма состоялась презентация изданной фондом “Демократия” книги под названием “Катынь”, содержащей большинство уже обнаруженных документов. Юрия Зорю на торжество не пригласили. В многочисленных примечаниях, а их несколько сот, его фамилия упоминается всего раза три, и то вместе с другими авторами, в связи с документами, не имеющими принципиального значения.

* * *

Юрий Зоря умер в 1998 году.

Николай Зоря
в зале
заседаний
Нюрнбергского
процесса




RZECZPOSPOLITA



Лешек Шаруга

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

Мои последние обзоры я посвятил вопросу порубежья между литературой и общественной жизнью — более того, почти отвернулся от литературной проблематики. Но это лишь отчасти моя вина: просматривая новые номера таких журналов, как катовицкие «Опции» и «Фа-арт», ольштынская «Боруссия» и щецинские «Погранича», люблинские «Кресы» и «Акцент», краковская «Декада литератцака» и вроцлавская «Одра», познанские «Аркуш» («Печатный лист») и «Час культуры» («Время культуры»), быдгощский «Квартальник артистичны» и торунский «Пшеглэнд артистично-литератцаки», жешувские «Фраза» и «Нова околица поэтув», гданьский «Титул» или сопотский «Топос», варшавская «Твурчость» или выходящая в Остроленке «Працовня» («Мастерская») — а я далеко не исчерпал перечень всех значительных журналов, — я, конечно, находил в них интересные стихи и рассказы, замечательные статьи и отличные рецензии, однако мне не удавалось найти ничего, что я мог бы представить читателю, интересующемуся скорее оригинальными размышлениями о словесности, нежели профессиональным анализом уже готового творчества. И вот, наконец, я нашел текст, который, на мой взгляд, заслуживает и представления, и глубоких раздумий.

Я нашел его в «Зешитах литератцких» («Литературных тетрадах»), журнале, о котором стоит сказать отдельно, ибо в пейзаже польской журналистики он занимает особое место. Журнал был создан в Париже в 1982 г. (сегодня редакция находится в Варшаве) после объявления в Польше военного положения. В составе его редакции были не

только польские литераторы — в нее вошли, в частности, покойный Иосиф Бродский, литовский поэт Томас Венцлова, чешский поэт и критик Петр Краль, недавно к ней присоединился итальянец Роберто Сальватори. Главный редактор «Зешитов» — Барбара Торунчик, остальные члены редакции: Станислав Баранчак, Эва Беньковская, Войцех Карпинский, Эва Курылюк, Адам Загаевский и Марек Заганчик, — литераторы с прочной репутацией и немалым числом опубликованного. «Зешиты», несомненно, следует признать — наряду с парижской «Культурой» или краковским «Знаком» — одним из важнейших центров формирования идей в польской интеллектуальной жизни. Многих, надо сказать, раздражает несколько академический характер журнала, но важно ведь не то, чтобы все во всем соглашались, а то, чтобы в невероятном разнообразии и многоголосии, которые сегодня могут проявляться беспрепятственно, суметь из различия позиций извлечь выгоду для всех участников диалога.

Эссе, которое привлекло мое внимание в последнем номере журнала (2000, №3), написал Адам Загаевский, поэт, прозаик и публицист, в момент своего дебюта один из представителей «поколения-68», существенным образом повлиявшего на перемены в польской литературной жизни, особенно в 70-е годы. «Защита рвения» — так озаглавлен текст, фрагменты которого я хотел бы представить. Это размышления о положении культуры в наше время. Указывая на корни, которые мы можем найти в речи Диотимы из «Пира» Платона или в элегии Гельдерлина «Хлеб и вино», Загаевский пишет:

«Возникает впечатление, что наша современность благоприятствует лишь одно-



му этапу некоторого вечного и бесконечного странствия. Это странствие лучше всего характеризует взятое у Платона понятие «метахи»: бытие «между», между нашей землей, нашим, как мы считаем, хорошо нам известным, конкретным, материальным окружением — и трансцендентностью, тайной. «Метахи» определяет жизнь человека как существа, неизлечимо находящегося «на полпути». И Симона Вайль, и, по-иному, Эрик Фегелин (мыслители, которые ненавидели тоталитаризм и от которых я узнал это платоновское «метахи») пользовались этой категорией: Фегелин даже сделал из нее один из центральных пунктов своей антропологии. Ибо мы так и не сумеем навсегда поселиться в трансцендентности (и никогда не познаем ее смысла). Диотима справедливо поощряет нас стремиться к красоте, к высшему, но никто из нас не поселится навсегда на вершинах Альп, не разобьет там палатку надолго, не построит себе дома в вечных льдах. Мы будем ежедневно возвращаться вниз (хотя бы для того, чтобы уснуть... — у ночи, как мы знаем, два лица: она — «чужестранка», побуждающая нас к медитации, но она же и пора совершеннейшего равнодушия, пора сна, а сон требует предельно угасить экстаз). Мы будем всегда возвращаться к обычному: пережив Божоявление, написав стихотворение, мы войдем в кухню и задумаемся о том, что съесть на обед, потом откроем конверт и вынем счет за телефон. (...) Мы всегда «между», и в некотором смысле в нашем постоянном движении мы всегда предаем вторую сторону».

Размышляя об опасностях, подстерегающих на пути к красоте, Загаевский продолжает: «Нужно, однако, не забывать, что в тяжелые времена движение в направлении «красоты» порой вырастает из нечистой совести, из морально подозрительных обстоятельств. (...) Каждый, кто размышляет над состоянием литературы сегодня, должен отдавать себе отчет в том, что одна из тропи-

нок, ведущих на платоновскую гору, — тропа лицемерия. В то же время мы не можем не видеть и того, что иные пути от него избавлены или могут быть избавлены и что двуличие (...) есть заболевание, выступающее, вероятно, лишь в тоталитарных системах, т.е. весьма специфическое явление (...). Может быть, сегодняшнее молодое поколение ничего о нем не узнает. Красота при тоталитаризме — это особый вопрос: это и Мандельштам в Воронеже, тоскующий по Шуберту и Ариосту, и Ярослав Ивашкевич в Подкове-Лесной, автор замечательных стихов и крайний политический оппортунист. Похоже, здесь можно сформулировать по крайней мере одну существенную поправку: восхождения «на вершины» должны предприниматься в состоянии внутренней честности». И дальше: «Что такое поэзия, мы, к счастью, знаем не слишком точно и вовсе не обязаны знать это аналитически; никакое определение (а их так много!) не способно формализовать эту стихию. И у меня нет претензий на формулировку определений. Есть, однако, некое искушение в том, чтобы увидеть поэзию в этом движении «между» — как одну из важнейших колесниц, уносящих нас вверх, — и понять, что рвение предшествует иронии. Рвение, пламенное пение мира, на которое мы отвечаем своим несовершенным пением. Мы нуждаемся в поэзии точно так же, как нуждаемся в красоте (хотя вроде бы есть в Европе страны, где это последнее слово строжайше запрещено). Красота существует не для эстетов; для каждого, кто ищет серьезного пути, красота — это вызов и обетование если, быть может, не счастья, как того хотел Стендаль, то великого бесконечного странствия».

В контексте этого полного эрудиции эссе, из которого я привел лишь отрывки, стоит обратиться вспять, к более ранним номерам «Зешитов литератцких», и перечитать другое эссе Загаевского. «Заметки о высоком стиле» — это лекция, прочитанная в



Тильбури (Нидерланды) в 1998 г. в качестве ежегодного «Nexus lecture». Текст был напечатан в 65-м номере ежеквартального журнала (первом за 1999 г.) и на некоторое время — как водится в таких случаях, короткое — привлек к себе внимание. Обращаясь к опыту уходящего столетия, Загаевский пишет:

«В окопах I Мировой войны и в лагерях II Мировой человек видел такие вещи, которых не должен видеть, те, что в более спокойные времена становятся уделом немногих несчастных, оказывающихся лицом к лицу с убийцей. Вероятно, невозможно создавать искусство, которое последовательно и постоянно соответствовало бы ужасу этого крайнего опыта, которое бы «стояло на высоте» этих самых низких моментов нашей истории. Этот радикальный опыт должен привести к тому, чтобы отвергнуть сонаты Моцарта и стихи Китса; всегда найдется человек, который скажет, что поэзия — это только литература, а музыка — только музыка; и этот человек, исстрадавшийся, как Иов (или всего лишь умничающий, как студент элитарного университета), будет прав. Это только поэзия, только музыка. Ничего лучшего у нас нет».

Признаюсь, что, читая эти слова, я не мог согласиться с ними до конца. Да, я понимаю сарказм и иронию Загаевского, выраженные в последнем предложении: ничего лучшего у нас действительно нет. Но то, что у нас есть, я уверен, доказывает, что пусть в немногих случаях, однако литература способна «стать на высоте» вышеназванных самых низких моментов нашей истории. Такова для меня поэзия Ружевича, такова проза Херлинга-Грудзинского.

Но, разумеется, речь идет не о моем несогласии с Загаевским. Я просто хочу представить важный и серьезный голос, затрагивающий дискуссию, которая как будто подспудно, в стороне от гула событий, интересующих широкую публику, идет в нашей куль-

туре. Одна из проблем, заинтересовавших Загаевского, — упрощение стиля, которое сопутствует (например, в поэзии молодого Ружевича) переживанию исторического опыта, превосходящего масштаб традиционного восприятия:

«Трудности с неслыханной простотой, о которой мечтают все, кто ищет истину, а не только красоту, состоят в том, что ее исцеляющее действие возникает из контраста со сложными, барочными формами и потому не может продолжаться долго: решающим оказывается момент смены, контраст. (...) Тадеуш Ружевич остается выдающимся поэтом, но сегодня ему реже удастся достичь той, почти кошмарной простоты ранних стихов». И опять хотелось бы вступить с Загаевским в спор, но я лишь упоминаю об этом желании, так как важнее, на мой взгляд, привести продолжение его рассуждения: «Парадоксально, но очищение и упрощение эстетики под влиянием ужаса в дальнейшем приводит к эстетическим формам, неспособным выразить этот ужас (заметим, что ни Милош, переживший гитлеровскую оккупацию, ни Мандельштам, которого, как мы знаем, жизнь била и била, никогда не поддавались искушению ложной простоты)». И снова: ложной? Однако я снова откладываю свой вопрос в сторону.

Откладываю, так как меня интересует, что хочет сказать Загаевский о высоком стиле: «Сумеет ли мы еще писать так, как Гелдерлин, Норвид, Йитс, Рильке, Мандельштам, Милош, — писать, обращаясь к миру в целом, к миру, в котором есть и божественное, и муки, и отчаяние, и радость, а не так, как профессионал, который прекрасно овладел одной лишь специальностью, — интересуясь лишь чем-нибудь одним, будь то языком, политикой или цветами акации, и превращаясь в малого мастера одного мотива? Не возвышенным же стилем Клоделя или Сен-Жон Перса, прекрасных поэтов, к сожалению, лишенных чувства юмора. Ибо я бо-



юсь, что высокий стиль, если ему не будет сопутствовать чувство юмора, исполненное снисходительности к нашему смешному и жестокому, несовершенному миру, может превратиться в холодный мавзолей, напоминать те каррарские каменоломни, откуда мрамор весь выбрали, а осталась только белизна. Высокий стиль рождается в неустанной беседе двух сфер: духовной, стражники и создатели которой — мертвые, как Вергилий в «Божественной комедии», и, с другой стороны, сферы вечного «praesens», нашего дорожного, единственного мгновения, ящика времени, в которое нам привелось жить. Высокий стиль посредничает между духами прошлого и преходящестью настоящего, между Вергилием и юношами, которые под рок-музыку катят на роликовых досках по гладким тротуарам западноевропейских городов, между бедным одиноким Гельдерлином и подвыпившими немецкими туристами, перекрикивающимися ночью в тесных улочках Лукки, между вертикалью и горизонталью».

И еще один фрагмент этого волнующего, увлекательного и одновременно вызывающего на спор эссе: «Я нередко задумываюсь: откуда берется весьма осязаемое успокоение нынешнего поколения писателей, которые больше не хотят быть ни рыцарями, ни героическими офицерами со шрамами на лицах, ведущими солдат в бой, ни даже не знающими страха, жестокими революционерами с экзотическими кличками, — из продуманного выбора, сознательного приятия чужой эмоциональности или же из обычной реакции пресыщения, утомленности слишком крикливой риторикой, из заурядного желания перемен? Иначе говоря, почему мы ставим Вермеера выше Рубенса? Потому что до конца обдумали ценность созерцания и ценность — сомнительную — радикального действия, или же мы просто руководствуемся модой, настроением, тем, что говорят другие? Что нами руководит — мудрость или один только конформизм? Если второе, то придется

пессимистически взирать на будущее литературы (и не только литературы)».

И вот мы снова оказываемся на рубеже литературы и общественной жизни. Иного выхода нет: так или иначе, а они всегда в конце концов соприкоснутся — противостоя друг другу и в то же время взаимно друг друга дополняя. Эссе, отрывки из которых я привел, дают некоторое представление о том, чем будет новая книга Загаевского, посвященная размышлениям о литературе и ее роли в нашей жизни. Его предыдущие книги: написанный вместе с Юлианом Корнхаузером программный том «Непредставленный мир» (1974), а особенно «Второе дыхание» (1978) и «Солидарность и одиночество» (1986) — становились крупными событиями польской литературной жизни, привлекали внимание как критики, так и пишущей братии, особенно молодежи. Сегодня Загаевский, храня верность программе «середины», программе литературы «порубежья», о которой в первом из рассмотренных эссе тоже идет речь, все больше отдаляется от иронического подхода, склоняется к серьезности, хоть и не отказываясь от мягкого чувства юмора. Этот голос стоит услышать, ибо в последние годы это единственный программно высказывающийся голос — наряду с голосом недавно скончавшимся Густава Херлинга-Грудзинского (позиции которого я излагал в июньском номере).



Янина Куманецкая

ЛЕТОПИСЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

★ Краков отпраздновал 70-летие Славомира Мrojeка. Все произошло примерно так, как пожелал юбиляр, когда понял, что юбилей не избежать. Больше всего он боялся, что в его честь станут устраивать торжественные заседания. К счастью, праздник вышел не помпезным, зато динамичным. После полудня краковский Рынок, главная площадь города, заполнился действующими лицами пьес и рисунков Мrojeка. Кульминацией стало открытие памятника Великому Поэту — большого воздушного шара, опасно колыхавшегося на ветру. Что он должен был изображать — каждый мог додумываться сам. Так что вся ситуация была “совершенно как из Мrojeка”, т.е., по определению друга юбиляра писателя Станислава Лема, “вверх тормашками — то, чего не должно было случиться. Нечто невозможное, невыносимое, но ужасно смешное”.

★ В Гданьске и Варшаве пышно принимали прошлогоднего нобелевского лауреата, немецкого писателя Гюнтера Грасса, родившегося в Гданьске и воспевшего этот город. В Гданьске в честь автора “Жестяного барабана” прошел парад барабанщиков. В Варшаве на встречу с писателем в Институте Гёте невозможно было пробиться. Грасс приехал в Варшаву по приглашению президента (мэра) столицы Пискорского, который приветствовал его следующими словами: “Три великих писателя особенным образом сформировали нашу культуру и наше мышление. Все трое — нобелевские лауреаты. И все они писатели порубежья — не только географического, но и культурного, порубежья сознания. Это Исаак Башевис Зингер, Чеслав Милош и Гюнтер Грасс”.

★ В Неаполе в возрасте 81 года скоропостижно скончался Густав Херлинг-Грудзинский. “Я считаю, что наш век, которым у нас нет особых оснований восхищаться, — это век конца идеологий. Идеологии, которые поглотили миллионы человеческих жизней, полностью себя исчерпали, — сказал он в интервью католическому еженедельнику “Тыгодник повсехны”, — Если они что-то значат, то только разрушение, гонения, истребление”. Писатель прожил 60 лет в изгнании, был узником советских



СЛАВОМИР МРОЖЕК — это не только один из наиболее известных в Польше, России и во всем мире драматургов и сатириков. Начиная как график — сатирик, и рисует по сей день. Предлагаем подборку его забавных эскизов, показанных на пользующейся большой популярностью выставке «Человек по Мrojeку» в краковском Историческом музее.





Папа, я — потерянное поколение



Вам, ребята, неча мне завидовать. Морально я ниже



Папа, расскажи про человеческую природу... Это не для детей!

лагерей, солдатом II корпуса польской армии на Западе, участвовал в штурме Монте-Кассино. Почти полвека он тесно сотрудничал с парижской “Культурой”. С 1989 г. печатался и бывал в Польше, последние пять лет регулярно публиковал на страницах газеты “Жечпосполита” свой “Ночной дневник”, том которого за 1997-1999 гг. вышел незадолго до смерти писателя. Последние отрывки “Дневника” еще ждут издания, а между тем в книжных магазинах уже появился сборник интервью Влодзимежа Болецкого с Густавом Херлингом-Грудзинским “Беседы в Неаполе”, содержащий подробный анализ его творчества.

★ Польское товарищество книгоиздателей присудило свои премии за 1998-1999 гг.: в области поэзии — Вальдемару Могельницкому за сборник “Катаракта”, метафизические стихи высокого класса; прозы — Збигневу Крушинскому за сборник рассказов “На суше и на море”, искусно сконструированную автоутопию; эссе — Дариушу Новацкому за книгу “Профессия: читатель”. Премии за дебют получили Иоланта Стефка за сборник стихов “На ничьей стороне” и Войцех Кучок за сборник “Слышанные повести”. Польский ПЕН-Клуб посмертно присудил премию им. Ксаверия Прушинского Казимежу Брандысу, а ежегодные премии журнала “Литература на свете” получили Мария Дзельская за перевод “Богословских сочинений” Псевдо-Дионисия Ареопагита, дебютировавшая как переводчица прозаик Магдалена Тулли за “Гнев небес” Флер Джегги, а также Ежи Снопек за перевод стихотворения Яноша Пилинского, Яцек Левинсон за “Словарь польских сексуализмов” и краковское Литературное издательство за серию “Писатели, пишущие по-немецки”.

★ Одна из немногих книг, вышедших к 20-летию создания “Солидарности”, принадлежит польскому историку общественной мысли Анджею Валицкому и называется “Польские борения со свободой”. Это трезвый анализ польских национальных споров о ПНР, “Солидарности”, генерале Ярузельском, роли интеллигенции и Церкви, понимании патриотизма, форме и направлении преобразований.

★ В последних списках бестселлеров изменений мало. Первое место в области художественной литературы по-прежнему занимает Иоанна Хмелевская (теперь в список попала ее новейшая книга “Проклятый барьер”), а за ней — Густав Херлинг-Грудзинский (“Ночной дневник”) и Рышард Капустинский (“Еще один день жизни”). В первых рядах стоят также современный роман Петра Семена “Низкие луга” и два сборника размышлений недавно скончавшегося свящ. Юзефа Тишнера “История филосо-



фии по-гуральски” и “Священник на бездорожье”. Среди заграничных авторов первыми неизменно остаются бразилец Паулу Селу и австралиец Уильям Уортон.

★ После многих “тощих лет” польские кинофильмы снова могут гордиться премиями международных кинофестивалей. Главный приз XXII Московского кинофестиваля и статуэтку св. Георгия получил Кшиштоф Занусси за картину “Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем”. Герой фильма — врач, больной раком, который задумывается о том, может ли человек спокойно готовиться к смерти. В главной роли — Збигнев Запасевич. Специальную премию жюри на 35-м Карловарском фестивале получил Ежи Стур за “Большого зверя”. Фильм снят по сценарию Кшиштофа Кеслёвского и рассказывает о банковском служащем в маленьком польском городке: вместе с женой он берет под опеку верблюда, брошенного бродячим цирком. Фильмы Занусси и Стура впервые были показаны на польском VI кино- и художественном фестивале “Лето фильмов” в Казимеже-Дольном. В течение десяти дней в этом очаровательном городке над Вислой, который некогда стоял на перекрестке торговых дорог Европы, а теперь ведет сонную жизнь типичного курорта, в специально поставленном шапито, в местном кино и на Рыночной площади более 60 тыс. зрителей посмотрели сто с лишним художественных и документальных фильмов. Несколько своих работ показал также видный режиссер-мультипликатор Петр Думала. Публика в этом году признала самыми интересными событиями фестиваля “Большого зверя” Стура и “Все о моей матери” Педро Альмодовара.

★ Между тем в Варшаве состоялась премьера последнего фильма Анджея Жулавского “Верность” с Софи Марсо в главной роли. Жулавский, некогда ассистент Вайды, а теперь живущий во Франции и главным образом там ставящий свои фильмы, показал весьма современную версию “Принцессы Клевской” Мари де Лафайет, одной из самых прекрасных в мировой литературе книг о любви.

★ Ежи Кавалерович уже вернулся из Туниса, где снял первые сцены “Quo vadis” (“Камо грядеши”) по Генрику Сенкевичу, а съемочная группа “В пустыне и в пуще”, экранизации другого произведения первого польского нобелевского лауреата, наоборот, отправилась в Северную Африку. Третья экранизация Сенкевича из тех, что готовятся на польских киностудиях, — “Крестоносцы”, история войны Речи Посполитой с орденом Крестоносцев (XV в.), завер-



Руки прочь!



Польки! Еще одно успеше!



Папа, в чем смысл жизни?
Сейчас будут новости — вот и узнаешь



Хватит вопросов!
А почему?

шившаяся битвой под Грюнвальдом. На право снимать фильм претендуют два польских кинорежиссера — Ярослав Жамойда и Богуслав Линда. Предыдущую экранизацию, сорок лет не сходящую с польских экранов, осуществил Александр Форд.

★ Филип Байон приступил к постановке “Кануна весны”, кинофильма по мотивам романа Стефана Жеромского. Роль Цезария Барыки, бунтующего молодого человека, чья судьба вплетена в извивы истории Польши и России, сыграет уже известный российским зрителям по “Капитанской дочке” Матеуш Дамецкий.

★ Биографический фильм о любви Фредерика Шопена (Петр Адамчик) и Жорж Санд (Данута Стенка) начал снимать Ежи Антчак. Владислав Пасиковский начал съемки остросюжетного фильма “Рейх”.

★ “Серое в цвете” — так называется выставка в варшавской галерее “Захента”, рассказывающая о неярких 60-х годах. Выставка — попытка воссоздать атмосферу тех лет, когда все самое интересное происходило на краю официальной политической и культурной жизни. “Культура шестидесятых, — писала Анна Бернат в газете “Жиче”, — возникала в кафе, на джем-сешн, в частных квартирах. Особо выдающимися местами были “Галерея кривого колеса”, Студенческий театр сатириков, краковские кабаре “Кшиштофоры” и “Пивница [погребок] под Баранами”, варшавская “Пивница Ванды Варской”. Там встречались беспокойные артистические души, велись бесконечные споры, далекие от единственно верной политической линии. Выставке неплохо удалось воссоздать атмосферу этих мест”. Выставке сопутствуют киносеансы, концерты и фотовыставка.

★ В краковском Национальном музее открылась удивительная выставка “Малиновский и Виткаций. Фотография: между наукой и искусством”. На ней показаны фотографии, сделанные видным антропологом Брониславом Малиновским и его другом — художником, писателем и мыслителем Станиславом Игнацием Виткевичем во время экспедиции на Тробрианские острова. Малиновский в своих снимках стремился отразить действительность, которую Виткаций-художник деформировал. Малиновский ищет лица дикарей, Виткаций исследует внутреннюю жизнь “странных людей”. В том же музее открыта выставка работ Станислава Выспанского, на которой собрано множество эскизов и проектов к самым монументальным работам художника — витражам и фрескам, а также автопортреты и портреты родных и друзей. Выспан-



ский, “невысокий, рыжий, не всегда тактичный, действующий по зову сердца, захваченный своими видениями, был истинным наследником польского романтизма с его чудачествами и навязчивыми идеями, но и с неустанным сознанием утраченной родины”, — написал в “Тыгоднике пошехном” Тадеуш Хшановский.

★ В варшавской галерее “Показ” Томаш Мостицкий выставил фотографии, сделанные во время прошлогоднего праздника на горе Грабарка, где в середине августа собираются польские православные. “Я старался передать инаковость, экзотику и мистику Грабарки и празднующего там Преображения Господня”, — сказал он на открытии выставки.

★ “Страна крылатых всадников. Искусство в Польше 1572-1764” — такая выставка открылась 15 августа, в День Войска Польского, в варшавском Королевском замке. До этого она была показана в пяти городах США. На выставке экспонируются прекраснейшие произведения польского искусства эпохи расцвета Речи Посполитой Обои Народов. Экспонаты разделены на четыре тематические группы: монархия, магнаты, армия и религия. Экспонаты предоставлены двумя королевскими замками (варшавским и краковским), а также 33 музеями и церквями со всей Польши.

★ В этом году на Фестивале польской песни в Ополе почти все премии получила “Суфлерская будка” (Гран-при за “Бал всех святых”), рок-группа из Люблина, получившая также премию за свою деятельность в целом.

★ В местечке Душники-Здруй состоялся 55-й Международный Шопеновский фестиваль. Самой интересной фигурой фестиваля был русский пианист Андрей Гаврилов.

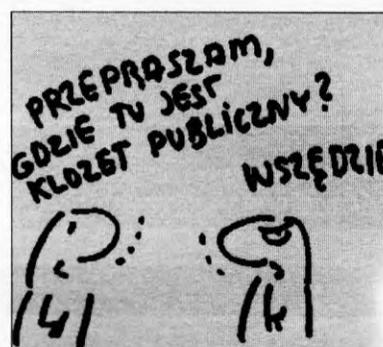
★ В Варшаве в возрасте 89 лет скончался Владислав Шпильман, пианист и композитор, музыкальный руководитель Польского радио и один из создателей фестиваля в Сопоте, автор многих популярных песен 40-50-х годов, в особенности песен о Варшаве. Однако превыше всего он ценил концерты с Варшавским квинтетом, классическим камерным ансамблем, с которым объездил целый мир. Его необычайные приключения во время гитлеровской оккупации, описанные им в мемуарах “Смерть города” стали канвой фильма “Варшавский Робинзон”, испорченного цензурой. Ныне Роман Полянский готовит на их основе новую картину.



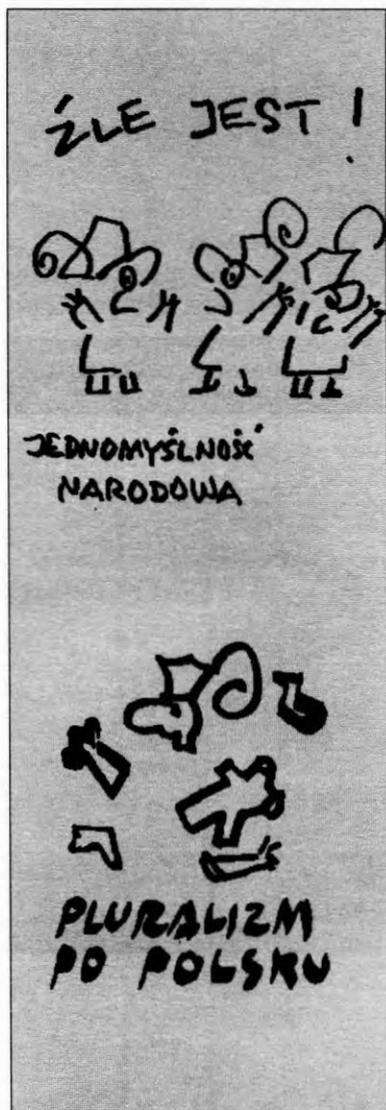
А теперь поговорим серьезно. Я не с вами, но и не против вас



Папа, что опаснее всего для Польши? Поляки



Простите, где здесь общественная уборная? Везде



ПЛОХО!

Национальное единение
П.орализм по-польски

★ После шестилетнего перерыва возобновился рок-фестиваль в Яроцине. Созданный в 1980 г. под лозунгом “музыки молодого поколения” (чтобы не дразнить власти “империалистическим” словом “рок”), с годами он все более разрастался. Вскоре фестиваль стал традицией и легендой, на нем были представлены все жанры, выступало большинство рок-групп, позднее ставших широко известными. Яроцин заменял тогда еще не существовавшую музыкальную ярмарку. В 1994 г., уже после окончания всех концертов, произошли столкновения панков с полицией. Фестиваль приостановили. Он вернулся на польскую музыкальную сцену только в этом году. Хотя публики собралось не так много, музыкальный уровень фестиваля был весьма высок, и все позволяет надеяться, что в будущем году о нем вспомнят молодые слушатели, толпами собирающиеся на такие музыкальные мероприятия, как варшавские летние концерты цикла “Джаз в Старом городе” или пользующиеся еще большей популярностью “Gdynia Summer Jazz Days”.

★ Каждое лето улицы больших городов оживляют фестивали уличного искусства. В Варшаве такой фестиваль прошел уже восьмой раз и, несмотря на плохую погоду, собрал толпы верных зрителей. В этом году в программу фестиваля входили также изобразительные, музыкальные и танцевальные мероприятия, а самым интересным выступлением был спектакль “Насекомое” немецкого пленэрного театра “Титаник”, где высокая технология сочеталась с разгулом фантазии. Другое ежегодное летнее мероприятие на пленэре — конкурс садовых театров — в этом году уже девятый раз проходило (с участием лишь польских театров) в варшавской “Швейцарской ложбине”, где некогда находился самый популярный столичный зимний каток. В Сопоте, в театре “Ателье” им. Агнешки Осецкой, в течение трех месяцев шли выступления под названием “Театральное лето”. Они открылись концертом еврейских песен “Шалом”, затем последовал спектакль “Прежде чем достигнешь берега” — по лучшим польским стихам о жизни и смерти, в музыкальном оформлении Ежи Сатановского; исполнители — Ханна Банашак и Мирослав Чижикевич. Состоялся также концерт песен Агнешки Осецкой в исполнении Барбары Дзекан.

★ 65-летие своей актерской работы отметила на сцене варшавского Польского театра выдающаяся драматическая актриса Нина Андрич. За свою жизнь она сыграла роли многих главных героинь мировой драматургии — от



леди Макбет до Жанны д'Арк и Клеопатры. Нина Андрич пишет стихи, издала книгу воспоминаний. Она — соавтор пьесы “Зеркало”, выступлением в которой Нина и отметит свой юбилей. Свое 80-летие и 65-летие театральной жизни празднует и другая звезда польского театра, Зофья Рысювна, которая выбрала для юбилейного спектакля “Барышню из Такны” Марио Варгаса Льосы.

★ Варшавский Камерный театр открывает новый сезон премьерой “Зеленой гусыни” Константы Ильдефонса Галчинского с музыкой Гжегожа Турнау и Иреной Квятковской в главной роли: десятки лет назад поэт писал эти тексты для нее.

★ Театр им. Виткевича в Закопане показал спектакль “Пиф! Паф! Пуф!”, созданный на основе текстов русских поэтов-обериутов, которые оставались свободными духом в ту эпоху, когда и за внутреннюю свободу нередко приходилось (а им всем пришлось) платить тюрьмой, голодом и смертью. Спектакль поставил Кшиштоф Найбор. “Тройка актеров, — пишет рецензент “Политики”, — восхищает эквилибристикой переброски из ситуации в ситуацию, сюрреалистическим юмором переодеваний, абсурдных монологов и диалогов”.

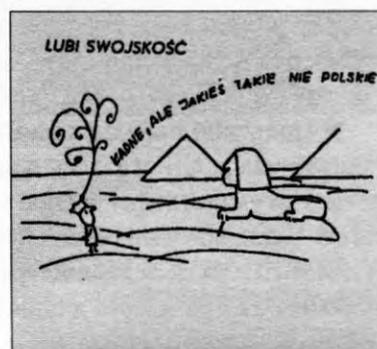
★ Юбилейный X Фестиваль еврейской культуры в краковском районе Казимеж [где до войны жили евреи] проходил особенно торжественно. Прекрасные концерты, выставки, встречи с писателями привлекли внимание широкой общественности. Проходили мастер-классы и дискуссионные встречи. О современном Израиле и польско-еврейских отношениях в связи с паломничеством Папы Иоанна Павла II на берега Иордана говорил гость фестиваля проф. Шевах Вейс, политик из Партии труда, многолетний председатель Кнессета, ныне возглавляющий комитет мемориала “Яд-Вашем” по присуждению званий “Праведников среди народов”.

★ В возрасте 69 лет скончался в Кракове священник проф. Юзеф Тишнер, горячо любимый молодежью воспитатель, писатель, по происхождению гураль. “Польша без Тишнера — другая страна. Дал Ты нам его, Господи Боже, чтобы мы задумались над самими собой. Но разве мы уже и вправду задумались? Неужели ты должен был уйти от нас, гураль?” — написал после его смерти Ян Карский.

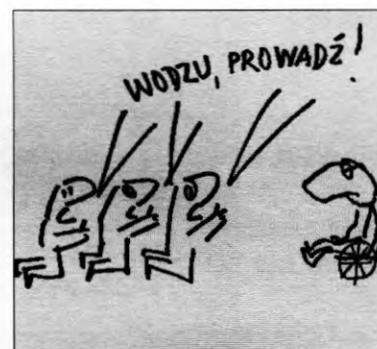
★ В возрасте 88 лет скончался в Вашингтоне Ян Карский, легендарный курьер Армии Крайовой, человек, первым оповестивший мир о гитлеровских преступлениях про-



Странно, когда-то здесь было всё, а теперь — ничего



ЛЮБИТ РОДНОЕ
Красиво, но как-то не по-польски



Вожь, веди!



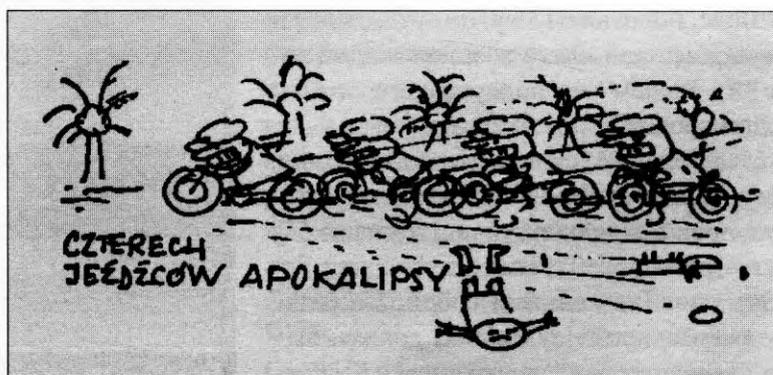
тив евреев на польской земле. После войны он преподавал в США историю дипломатии и международные отношения. В последние годы часто приезжал в Польшу. Польше в первую очередь была посвящена и его публицистика.

★ Познань — крупнейший в Польше центр “офф-театров”, и до сих пор на международном фестивале “Мальта” их представления были самыми интересными. Однако на X фестивале всех затмила кубинская труппа “Buena vista social club” (известная по одноименному фильму Вима Вендерса), спектаклем которой и открылся познанский фестиваль.

★ IV Международный фестиваль цыганской песни и культуры в Цехоцинеке закончился триумфом ансамбля “Терне Рома” из Щецинека. Много интересных групп приехало также на Международные встречи цыганских ансамблей, проводившиеся в Гожуве вот уже 12-й раз. Организаторы обоих фестивалей руководствуются желанием помочь цыганской культуре жить и развиваться.

★ 45 лет тому назад в Варшаве открылся Дворец культуры и науки (в то время — имени Сталина), “дар советского народа Народной Польше”. Построенный по образцу московских высотных зданий, он долго воспринимался как нечто чуждое Варшаве и варшавянам, но со временем врос в пейзаж города и стал одним из его важнейших символов. Сегодня он приносит крупные доходы хозяйничающему тут варшавскому району Центр. Планы на недалекое будущее включают возвращение Дворцу ранга культурного центра.

★ Польский павильон на Всемирной выставке в Ганновере “Экспо-2000” имел неожиданный успех. Он оказался одним из самых посещаемых павильонов выставки. Посетители смогли увидеть прекрасное соединение старого и нового, красоты природы и достижений науки. Павильон был обшит деревом и украшен живописью на стекле. Однако больше всего посетителям понравились реконструированные в одной из ниш соляные копи в Величке, памятник экстра-класса в списке европейского культурного наследия.



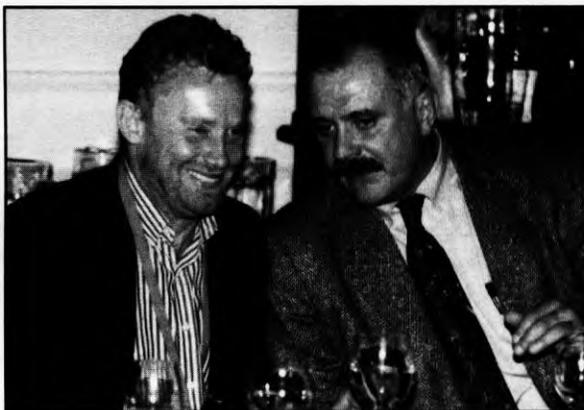
Четыре всадника Апокалипсиса



Даниэль Ольбрыхский

РУССКОМУ ДРУГУ

От редакции «Новой Польши»: Публикуем наиболее интересные и острые фрагменты открытого письма хорошо известного в России польского актера Даниэля Ольбрыхского столь же хорошо известному в Польше режиссеру Никите Михалкову. Напечатанное в варшавской «Политике» письмо было ответом на появившееся там же интервью Н.Михалкова, содержание которого кратко изложено в воспроизводимой нами вступительной заметке редакции варшавского еженедельника. Приводимые в тексте цитаты из Н.Михалкова даются в обратном переводе с польского, так что за дословную точность не ручаемся, но за смысл — безусловно.



III

В «Политике» №28 было опубликовано интервью журналиста Польского радио Юлиуша Глуского с Никитой Михалковым. Выдающийся русский кинорежиссер говорил не только об искусстве, но и, в частности, о политике, истории, польско-русских отношениях. Напомним несколько его важнейших высказываний.

О группировках сталинистов: «Это жажда доброго царя, который решит все проблемы. Такова ментальность русского человека».

О царе Александре III: «Я высоко ценю его. Это был настоящий русский император. Человек, который действительно понимал Россию и сумел предупредить все возможные войны, укрепить рубль. В государстве царил покойствие».

О войне в Чечне: «Россия не может разделиться. Я не вижу оснований даже спорить об этом».

О вступлении Польши в НАТО: «Польша сама это оценит, но боюсь, что значение слов «Еще Польша не згинезла» может скоро стать сомнительным».

Дорогой Никита!

Прочитал отличное интервью с тобой в этом еженедельнике («Политика» №28). Раз пять надевал очки, читая твои слова обо мне. (...)

Поэтому я вынужден тебе написать. Не от имени Польши. (...) Но во имя нашей дружбы, во имя — я верю в это — дружбы наших народов и во имя истины. А она иногда, конечно, бывает субъективной, но существует.

Никита! Как я люблю твой фильм о возрастании твоей дочки («Анна от 6 до 18»)! Какая красота! Я смотрел и был растроган. Но потом ужаснулся. Как может девочка расти и ничего не понимать в страшной истории своей страны? Теперь я понимаю, что ничего не понимал и ты сам. Была информационная стена семейных традиций. Меня отец, несмотря на жуткий контроль вашей и нашей полиции, кое-чему насчет подлинной истории научил. А в твоём фильме я вижу ничего не знающую о мире комсомолку. Демократии меня учила польская Церковь. Извини, но чему учила вас православная Церковь, которой ты приписы-



ваешь такое влияние? Частично она была расстреляна, частично — сотрудничала с режимом. Но если ты об этом не знаешь, возьми и почитай что-нибудь на эту тему.

Меня огорчает, друг мой, что, вместо того, чтобы создавать великие фильмы — такие, как ты все время делаешь, — ты берешься и за то, в чем не разбираешься. (...) А может, твое интервью просто плохо переведено? А то у меня волосы встают дыбом. На конкретный вопрос о сталинизме ты говоришь, что эти люди не то чтобы любят товарища Сталина (твою иронию я понял!), а просто жаждут доброго царя. Так почему они любят убийц царя? Убийц их собственного народа! Сталин поубивал вас (включая и нас прочих) больше, чем Гитлер. И об этом, конечно, ты сегодня обязан знать. И нечего кричать, что 25 миллионов человек уничтожил Гитлер, — это и так все знают. Сними фильм о 30 миллионах, уничтоженных Сталиным. (...)

Неделимая Россия. (...) Неужели Россия — это эстонцы, латыши, литовцы, а на юге мусульмане? Если чеченцы — бандиты, то почему вы хотите, чтобы они жили с российскими паспортами? Они этого не хотят. Может быть, вместо того, чтобы их убивать и провоцировать на ужасные акты мести, лучше было бы отделиться от них высокой стеной, чтоб они из-за нее не выходили. И пусть сами собой управляют. Что-то не припомню, чтобы чеченцы хотели завоевать Москву. Зато знаю, что русские бомбы их столицу уничтожили.

Далее, Никита! Поскольку ты, может быть, не располагаешь информацией, мне придется тебя слегка информировать. Сербь сначала в Боснии, а потом в Косове совершали геноцид в масштабе, которого в Европе не знали со времен Гитлера. Эти чудовищные преступления остановило НАТО. Знаю, что ты со мной не согласен, но это печальные факты. (...)

Ну, и в заключение. (...) Вступление Польши в НАТО, Польши, которая отчаянно ищет безопасности, ибо от вас, как верно понимал это Булат Окуджава, она испытала главным образом преступления и обиды, ты оцениваешь так: «...значение слов «Еще Польша не згинезла» может скоро стать сомнительным». Есть два варианта анализа твоих слов. Либо НАТО нас поглотит, но это чепуха — посмотри, как прекрасно проживают государства НАТОвского сообщества. Либо вы, русские, у нас высадитесь — это вторая возможность, и в это с опытом последних 300 лет поверить легче. Что же тогда, дружок, мы с тобой на конях друг против друга? Два старика — я на сивке, ты на красном гнедке? Ты, конечно, знаешь, что я тебя с коня свалю и, прежде чем «катюши» меня расстреляют, крикну «Еще Польша...»

А дальше — сам знаешь, что я тебя люблю, так стукни себя по сивой черепашке.

Твой Даниэль

POLITYKA

.....
• В 5 номере нашего журнала было опубликовано письмо *Ольги Подборской*, председателя правления •
• Красноярского регионального объединения сибирско-польских творческих связей «Сибирь». К •
• сожалению, была допущена ошибка в написании фамилии автора, за что редакция приносит извинения. •
.....

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ:

- В.Бересь** о «Газете выборчей»
Д. Ольбрыхский: Как ужиться с соседом?
Наши люди: Сестра Хмелевская
А. Ермонский: Вы Гомбровича не читали?
М.Бялошевский: Дневник
Е.Стемповский об интеллигенции
Последнее интервью **Яна Карского**
В.Кулерский Судьба Костюшковца
Хулиганы играют «Ромео и Джульетту»
Н.Подольская: Размышляя о Корчаке
Я. Видацкий: О Юлиуше Меровшевском
П. Мицнер: О субкультурах молодежи
А.Наймродзкий: Клуб друзей Окуджавы
М.Клецель: Лукасинский в Шлиссельбурге
М.Прусак: Москали - друзья и недруги
Р. Пшибыльский: О Бродском, Ахматовой, Мандельштаме
К. Яновская и П. Мухарский: Беседы к концу столетия с
Л.Колаковским, Б.Скаргой и др.

СТИХОТВОРЕНИЯ

- Милоша, Стахуры, Твардовского, Шимборской, Бялошевского** и др.
в переводах
Бродского, Базилевского, Астафьевой, Британишского,
Горбаневской, Свяцкого и др.



НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ИЗДАВАЕМЫЕ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША

СЛЕДУЮЩИЕ ЖУРНАЛЫ:

Dialog

Ежемесячник, посвящённый современной драматургии.

NOWE KSIĄŻKI

Ежемесячник для читателей, библиофилов, библиотечных работников и издателей. В каждом номере обзор новостей, рецензии, статьи об издательском деле, анонсы, библиографии.



НОВАЯ ПОЛЬША

Ежемесячник о Польше на русском языке. Публицистика, политика, вопросы экономики и культуры, обзор литературной и научной жизни страны.

twórczość

Самый долговечный и заслуженный польский литературный ежемесячник, посвящённый современной прозе, поэзии и культурной публицистике. Журнал активно участвует в культурной жизни Польши.

DWUTYGODNIK ruch muzyczny

Единственный в Польше журнал о музыке, её теории и практике. Выходит раз в две недели.

L I T E R A T U R A na świecie

Известнейший ежемесячник, содержащий обзор произведений зарубежных авторов.

Biblioteka Narodowa. Zakład Wydawniczy Czasopism Patronackich,
00-973 Warszawa, Al. Niepodległości 213, tel./fax 6082488, tel. 6082374